

ЛАУРЕАТ "РУССКОЙ ПРЕМИИ"
ПРЕМИИ имени Э. ХЕМИНГУЭЯ
ПРЕМИИ имени Н.В. ГОГОЛЯ

В А Л Е Р И Й
БОЧКОВ

MAINSTREAM



EROS & THANATOS

**ВРЕМЯ
ВОДЫ**

Рискованные игры

Валерий Бочков

Время воды

«Автор»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бочков В. Б.

Время воды / В. Б. Бочков — «Автор», 2017 — (Рискованные игры)

ISBN 978-5-699-83872-1

Часто ли мы задаемся вопросами: что есть Бог и что есть мы? У Анны Филимоновой теперь достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим. Случай или чудо спасли ее от неминуемой гибели – разрушительного потопа, накрывшего маленький латышский городок. С высокой церковной колокольни, ставшей ее пристанищем, видно почти все, кроме собственного будущего. По радио сообщили, что есть выжившие, но где-то далеко, в горах. Смастерив из прибитого течением большого контрабаса плот, Анна Кирилловна отправляется на поиски суши. Несколько банок консервов, апельсины и спасательный жилет, подаренный батюшкой, – вот и весь груз ее «ковчега». Кого встретит она на своем пути, что обретет? Настало время неизведанного, настало время воды...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-83872-1

© Бочков В. Б., 2017
© Автор, 2017

Содержание

Время воды	6
Обнаженная натура (фрагмент)	64
Часть первая	64

Валерий Бочков

Время воды

© Бочков В., 2017

© ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Время воды

За ночь вода поднялась еще на полкирпича. Филимонова присвистнула, наклонилась и процарапала гвоздем новую метку.

Спина затекла. Не вставая с колен, Филимонова медленно разогнулась. Охнула, выпрямилась, подперев кулаками поясницу. Тут главное не торопиться, усмехнулась она, если тебе уже не пятнадцать, обращаться с телом нужно бережно. Этим маем Филимоновой стукнуло ровно пятьдесят. На банкете она, перебрав смородинового кружона, так и объявила: «Полтинник... Кто бы мог подумать, а? Мне – полтинник! Вот и я вышла в тираж...» А после не на шутку разревелась, сморкаясь в салфетки, громко икая и требуя не обращать на нее никакого внимания.

На сегодняшний день в тираж вышли и все остальные, причем независимо от возраста.

1

Вчера ей повезло: Филимонова выловила семь апельсинов. Один она тут же съела, вытерев об подол и ловко очистив зубами рыжую кожуру, от которой слегка воняло тинной.

Теперь от всего воняло тинной, рыской, болотом. «Слишком много воды, – подумала Филимонова, – и прибывает слишком быстро». Если так дальше дело пойдет, то пропаша консервов окажется не такой уж серьезной проблемой. Хотя, конечно, до слез жаль. Особенно те две банки крабов. В собственном соку – она вспомнила этикетку и рот наполнился слюной.

– Вот ведь мерзавец – красть у одинокой женщины, – и Филимонова, ворча, поднялась, больно ударив плечо о литой край колокола. Громко и от души выругалась. Потрявоженный колокол отозвался низким гулом.

– Прости меня, Господи, – пробормотала она, тут же подумав, что в свете последних событий, Он вряд ли всерьез обидится на сквернословие в церкви. Да и не в церкви, собственно, на колокольне. «Считай, почти на свежем воздухе», – решила она.

Филимонова называла себя гностиком – ей нравилось слово, да и беспечная безбожность пионерского детства заложила фундамент. Однако убежденной атеисткой она не была: филимоновское отношение к Богу было почтительно настороженным, ее тип гностицизма вполне допускал существование некоей Высшей Силы. Почему бы и нет? На всякий случай она иногда даже ставила свечи и украдкой неловко крестилась в каком-нибудь темном углу церкви, на Пасху непременно красила яйца и от случая к случаю невпопад постилась. Христианское общество, построенное на братской любви, виделось ей милым идеализмом, впрочем, к организованной религии она относилась с недоверием. Скучные лики икон, мертвый Бог на кресте, выкрашенный розовой краской с красными капельками на лбу и ладонях, аляповатые росписи по стенам, свечной угар – это и есть надежда на спасение души?

Был и личный аспект: Бог Отец, он же Вседержитель, Творец неба и земли, всего сущего – видимого и невидимого. И если к Святому Духу и к Богу Сыну у нее претензий не было, то Бог Отец напоминал ей деда Артема, здорового бородача, пьяницу и охотника подрасться. Родители несколько раз сплавляли ее на лето в ту приволжскую деревню, с кряжистыми домиками, воронами над кладбищем, глубоченным колодезем, на дне которого обитало гулкое эхо. Дед, источая сладкий сивушный дух, сажал внучку на колено, сдувал табачный сор с липких леденцов и страшным суковатым пальцем щекотал ее куриные ребра.

Старик Филимонов стал самым жутким воспоминанием детства – никогда ей не забыть то раннее июльское утро, когда она увидела деда Артема, повесившегося на кривой антоновке у сарая. Яблоня зимой замерзла и к следующей весне чернела мрачной корягой среди зелени сада. С тех пор Филимонова не ест яблок, при одном виде у нее перед глазами всплывает перекрученный ремень, белая борода и костистые босые ноги, едва касающиеся острой высокой травы.

2

Филимонова взгромоздилась на широкий подоконник. Уперла руки в беленые балясины сводчатого окна, подалась вперед. Осмотрелась – да, вода явно прибывала.

Это было заметно и по деревьям. Макушки высоких лип едва торчали из воды косматыми низенькими кустами, в них кое-где еще мутнел утренний туман. Вдали темнела колокольня кирхи и шпиль с крестом. В проеме башенки маячил тощий силуэт пастора, заметив Филимонову, он замахал неуклюжими руками. Та лениво махнула в ответ и отвернулась.

Сейчас она жалела, что так и не заглянула в кирху, не познакомилась с пастором. Иногда, прогуливаясь по липовой аллее, она слышала утробное пыхтение гудящего органа да шурилась на радужные блики оконных витражей. Пастора, похожего на черную цаплю, она часто видела в городе. Ее кресло стояло у окна, проходя мимо парикмахерской, пастор всегда останавливался и церемонно наклонял голову. Филимонова делала вид, что занята.

Филимонова ловко соскочила на цементный пол, звонко шаркнув подошвами, несколько раз с удовольствием топнула ладными кавалерийскими сапогами. Сапоги были черной, мягкой кожи с высокими голенищами. Чуть велики, правда, так ведь не на танцы, подумала она. Танцы, похоже, закончились. Она с сожалением оглядела свои ноги, лаковый носок, пятку, наборный каблук – что-что, а танцевать она любила.

Сапоги ей достались от дезертира. Не подарок – скорее балласт. Дезертир улизнул под утро, прихватив мешок с филимоновскими консервами.

Дезертир появился два дня назад. Приплыл на автомобильном баллоне, похожем на гигантский черный пончик, увешанный авоськами и мешками с добром. Он сразу не понравился Филимоновой. Шмыгая носом, дезертир пялился на ее тугую грудь, торопливо бубнил, что надо двигать на запад. При этом махал рукой в сторону кирхи, хотя там определенно был север. Говорил что-то про топографию, Даугавпилсскую возвышенность, что он-де понимает карты и у него есть компас.

«Какая к чертям собачьим возвышенность! – зло подумала Филимонова. – Посмотри вокруг, дурак». Но дурак был прав – нужно двигать. Сидеть на месте нельзя.

Поджав под себя ноги и нервно почесываясь, дезертир торопливой скороговоркой нес околесицу, иногда озирался и, подавшись к Филимоновой, переходил на сиплый шепот:

– Вот этими вот глазами, убей меня Бог! Чего ж я врать-то, Анна Кирилловна, буду?.. Поляка того, Мачека, прям на палубе... он не успел, а люки уже того... Задраили. Так вот они черепушку клювами в два счета, как орех... а после гляжу – мозгом лакомятся... Стервятники.

Филимонова молча сидела напротив, по-турецки сложив ноги. Огонек коптил, в его прыгающем свете лицо дезертира казалось желтоватым, как сырое тесто. На мизинце она заметила перстенок. Дезертир гордо выставил руку:

– Тайный орден! Не фунт изюма...

В черный агат был впаян золотой паук. Перстень был мал и глубоко впился в жирный палец. Угадав ее мысль, дезертир усмехнулся:

– Застрял. Теперь только вместе с пальцем.

Она посмотрела на его белую грудь, по-бабьи жирную и безволосую, в распахнутом вороте гимнастерки. Подумала: «Зачем он врет? Какие альбатросы в Латвии? Пытается напугать – зачем? – у самого вон поджилки трясутся. Тряпка...»

– А Голландии каюк... И Британии. Может, там какие Альпы еще торчат, хотя за это поручиться трудно, – дезертир поскреб щетину на щеке. – Не поручусь за это. У нас рация накрылась, до этого американцы выходили на связь. Плавбаза «Цинциннати». Капитан Ласточкин говорит – это как город. Бассейны, рестораны, кино... Даже кегельбан есть. Вот бы куда добраться. Но как?

Вокруг, в непроглядной темноте, тихо ворчала невидимая вода, иногда что-то чавкало и царапало по наружной стене. В одном дезертир был безусловно прав – оставаться здесь нельзя. Вода прибывала.

– Я вам не баран! – он погрозил кулаком в темноту. – Какая к бесу присяга? Долг! Я-то знаю, что провизии на две недели осталось. Даже с урезанным пайком... Что, прикажете дожидаться, когда они друг дружку жрать начнут? Благодарю покорно, это уж без меня как-нибудь. Теперь каждый за себя.

Филимонова почти не слушала треп дезертира, она снова вспомнила школьный автобус на мосту, запотевшие окна, маленькие испуганные лица. Вода, быстрая и мутная, подошла уже к верхним переключателям опор. На ее глазах мост накренился и автобус, смяв ограждение, медленно, словно нехотя, сполз в воду. Течение подхватило его и потащило, крутя в водовороты и сталкивая с вырванными деревьями, телеграфными столбами и разноцветным плавучим мусором. Желтая крыша мелькнула и исчезла.

Как же легко я утешилась! Такая же дрянь, как и этот вояка, сижу тут, как ни в чем не бывало. Слушаю треп, как спасти свою шкуру. Или это просто защитная реакция, чтоб не сойти с ума?

Сначала было оцепенение, сознание просто фиксировало происходящее вокруг. Безучастно, как автомат. Филимонова подумала, что, если бы тогда в этом принимали участие разум или душа, наверняка произошло бы короткое замыкание. Она бы просто чокнулась. Тогда у нее внутри что-то заклинило – все чувства оцепенели, застыли. Не было даже страха. Страх появился после, через пару дней, когда стали всплывать в памяти эти картины, этот страшный вой, мост, автобус. Потом пришло отчаяние.

Дезертир служил по снабженческой части. Был интендантом, которых Наполеон советовал вешать без суда через полгода службы. Император оказался прав: под утро вместе с консервами исчезла и колокольная веревка, дезертир срезал ее под самый узел.

В колокол Филимонова звонить не собиралась – она ж не пастор. Вербка, однако, могла пригодиться. Еще досадней была кража консервов. Филимонова съела апельсин, аккуратно спрятала корки в карман широкой цыганской юбки. Облизнула пальцы и стала всматриваться в горизонт.

3

Жизнь представлялась Филимоновой цепочкой нелепых случайностей. Почему спаслась именно она? Тем более в церкви. Да и вообще в этот Кронцилс Филимонова угодила по недоразумению – застряла по дороге из Риги в Ржев. И если уж искать логику или, на худой конец, причину, то виной всему были латышские калачи. Душистые ржаные калачи с тмином.

Замешкавшись в привокзальной пекарне, она прозевала свой поезд. Следующий уходил только утром. Делать было нечего. Жуя горячий калач, она вышла в город: Кронцилс оказался пыльным и сонным захолустьем, с коричневым тенистым прудом и ветхой готической усадь-

бой, которую местные называли «замок». В пруд забрела корова, так и стояла, лениво кивая большой головой своему рогатому отражению.

Выйдя из парка, Филимонова пересекла пустую площадь и свернула на центральную улицу. Она так и называлась – «Центральная». Она угадала прежнее название улицы – посередине площади в окружении жестких, пыльных кустов торчал пустой постамент, похожий на крашенный серебрянкой эшафот. По дырочкам вырванных букв она прочла имя.

Латышские вывески чередовались с русскими. Кособокие и рябые двухэтажные фасады неплохо было бы подмазать и освежить. А может, и не надо, – Филимоновой сразу пришло в голову сонная провинциальность и неспешный уклад городка, золотистая пыль в летних лучах, луковка колокольни с горящим боком, темный липовый парк. На треснутой по диагонали витрине парикмахерской к солнечному блику приклеилась бумажка: «Требуется опытный мастер в жен. салон». Ни мастером, ни тем более опытным Филимонова не была – так, стригла институтских подруг, вот и весь опыт. Диплома у нее не спросили, поверили на слово. «Да, в Москве и в Риге работала», – неопределенно ответила она.

Калачи, поезд и объявление торжественно выстроились в логическую цепь, обрели вкрадчивую убедительность знаменья. Именно того, что русские обычно называют плохо переводимым на латышский словом «судьба».

Филимонова лежала на куче тряпья. «На запад, надо двигать на запад» – фраза крутилась в мозгу, не давала думать, сводила с ума. Было жестко, от тряпок несло болотом. «Нужен плот или лодка, колокольню затопит через неделю. Надо двигать на запад. Там горы, там Татры, Карпаты... Наверняка кто-то спасся, уцелел».

Колокольный зев чернел над ней, язык колокола, похожий на пестик от гигантской ступы, целил прямо в лоб. Она закрыла глаза. Раньше ей казалось, что с годами жизнь должна наполниться смыслом, мудростью, на самом деле все шло по убывающей и ничего, кроме ненужного, грустного опыта и скуки, под конец не осталось. Под конец? – спросила она себя. И так же безразлично кивнула – под конец. Страсть, радость, неутолимая жажда – все это когда-то было, и ни с кем-то, а с ней. Ее сердце тогда-то колотилось, безумно хотелось жить. Жить было интересно... Все неуловимо улизнуло... Уму непостижимо...

Вкрадчивое журчание убаюкивало, появились деревенские крыши, пыльная улица, блохастый щенок, спящий в синей тени под лавкой, как же его звали? Он так потешно семенил за ней, когда она бежала на речку. А плавать так толком и не научилась. Сколько ей тогда было? Шесть, семь?

Чередой проплыли полустертые лица подруг. Ни имен, ни фамилий.

«Отчего-то, – подумалось Филимоновой, – я с годами разучилась дружить. А ведь как дружила – взахлеб! А теперь, вон, даже имен не вспомнить».

Она задремала, приоткрыв рот и чуть слышно похрапывая.

4

Если долго смотреть на воду, то начинала кружиться голова. Течение было вялым, тусклое небо в обрывках облаков будто приклеилось где-то у горизонта к бесконечной водной поверхности и двигалось теперь вместе с ним, словно наматываясь на барабан тоскливой и немой шарманки. Пейзаж плыл на запад.

Филимонова сидела на подоконнике, свесив ноги наружу. От утреннего азарта и уверенности, что именно сегодня ей должно непременно повезти, не осталось и следа. Пришла тупая усталость. Вода почти касалась подошв, вода прибывала. Ветер гнал мелкую рябь, блики мельтешили в глазах, ей иногда чудилось, что это она и ее колокольня плывут куда-то. Она жмури-

лась, мотала головой и снова всматривалась вдаль, лениво фантазируя, что вот-вот появится брошенная плоскодонка, беспризорный плот или хотя бы надувной матрас.

Как назло, с самого рассвета течение муторно тянуло мелкий мусор и бесполезный хлам. Мимо плыли сучья и торчащие черными крючьями корни деревьев. Порой солнце зарывалось в облака и рябь сразу гасла. Зеркало воды становилось прозрачным, превращаясь в коричневую стеклянную толщу. Присмотревшись, в глубине можно было различить застывшие кроны лип, а чуть глубже, среди скользящих теней, таинственно сияли кресты и золоченые луковички церкви. Иногда Филимоновой казалось, что она видит тропинку, по которой она когда-то гуляла, скамейки с коваными спинками, надгробья старого кладбища. А потом неожиданно выныривало солнце, вода вновь застывала плоским зеркалом и ничего, кроме отраженных облаков и бескрайнего неба, там уже было не разглядеть.

На горизонте что-то блеснуло. Филимонова вытянула шею, всматриваясь. Нечто гладкое, поймав солнечный блик, загорелось серебристым округлым боком.

«Рыба? – первое, что пришло в голову Филимоновой. – Ну да, как же – рыба-кит!»

Серебристое нечто, влекомое течением, двигалось прямо на колокольню. Филимонова вскочила, ухватила длинный сук, которым она выуживала хлам из воды. Приготовилась. Теперь было видно, что это какой-то шар или баллон, не меньше метра в диаметре.

У Филимоновой от волнения вспотели ладони. Она, зажав палку под мышкой, быстро вытерла руки о юбку и снова вцепилась в свой суковатый багор.

«Явно что-то надувное, может, спасательный плот или брезентовая лодка, – в голове замелькали заманчивые предположения, – наверное, что-то военное, какая-нибудь камера или баллон, вроде дезертирова колеса...»

Предмет приближался, лоснясь и влажно сияя на солнце.

Когда до него оставалось метров десять-пятнадцать, неясное предчувствие мерзким холодком пробежало между лопаток, будто мозг еще не осознал того, что она уже ощутила чутьем. А еще через мгновение набежали облака, солнце потухло, и Филимонова ясно увидела, что было скрыто под водой.

Это была мертвая лошадь. Раздутый живот торчал на поверхности огромным пузырем, а сквозь желтую воду легко можно было рассмотреть большую голову с оскаленными зубами, белую гриву и длинный хвост.

Течение дотащило лошадь до колокольни, копыто зацепилось за выступ. Труп застрял.

– Господи... – выдохнула Филимонова и, стараясь не смотреть, принялась с силой отталкивать лошадь сучком. Вдруг деревяшка сухо треснула, и Филимонова едва не свалилась вниз. Она опустилась на колени и, морщась и стараясь не дышать, изо всех сил начала отпихивать труп обломком палки. Наконец тяжелое тело грузно стронулось и нехотя отчалило, лениво покачиваясь на волнах. Страшный неживой глаз, несколько черных пиявок на белой коже, замедленная плавность гривы – Филимонова зажмурилась. Она сползла на цементный пол, закрыла лицо руками и зарыдала.

– Ну что ты меня мучаешь? Что тебе нужно? – крикнула она, задрав голову.

5

Унылый колокольный звон незаметно вплыл и вплеся в сон. Филимоновой снилось что-то яркое, южное, – толком рассмотреть ничего не удалось, лишь какие-то быстрые, пестрые пятна, острые веера пальм, а после все погасло и остался лишь нудный звон далекого колокола.

Филимонова открыла глаза, проворчала:

– Вот ведь чухна белоглазая, никакого угомона нет...

Пастор с непонятным упрямством и педантичностью звонил каждое утро. Она вылезла из кучи тряпья. От голода болела голова, но продукты нужно экономить. Особенно после пропажи консервов.

«Вода... Чертова вода. Надо замерить уровень», – думала она, перегибаясь вниз, и тут увидела контрабас. Полированный, с фигурными вырезами, черным грифом и четырьмя медными струнами, он приплыл, пока Филимонова спала. Приплыл и причалил, уткнувшись в стену колокольни. От контрабаса пахло мокрым деревом и дорогим мебельным лаком. Филимонова тронула толстую струну, нутро инструмента басовито загудело. Филимонова улыбнулась, прошептав:

– Надо же...

Контрабас неожиданно оказался не очень тяжелым. Филимонова втянула его за гриф. Уложила на тряпье, села рядом, глядя рукой полированные изгибы, провела пальцем по струнам. Сочный низкий гул наполнил свод колокольни, заворчал в жерле колокола и тихо растаял.

– Надо же... – повторила Филимонова. Она задумчиво перевела взгляд на сваленный в угол хлам – ее выуженное богатство: несколько толстых коряг, две отличные сосновые доски, дверца от буфета с медной ручкой, пластиковые бутылки, пара канистр, рыжий буй с обрывком троса.

«Что с тобой, подруга? – сказала она себе. – Теперь-то уж чего робеть. Поздно теперь бояться... Последний шанс. Три-четыре дня и все – крышка». Она заглянула в люк, ведущий вниз, в церковь. Вода добралась уже до верхней ступеньки винтовой лестницы.

– Ну, значит, так... – Филимонова встала, деловито хлопнула в ладоши и принялась с треском рвать тряпки на длинные полосы, помогая зубами и отплеываясь от ниток. Полосы она скручивала в жгуты, связывала их между собой узлами. Дергала, проверяя на прочность. От работы лицо ее покраснелось, она приговаривала: «Так-так-так», локтем и тыльной стороной руки стирала с лица пот и убирая непослушные рыжие волосы.

После она разложила по обеим сторонам контрабаса деревяшки, прикидывая конфигурацию будущего плота. Дверца буфета идеально вошла под гриф, получилось что-то вроде подводного крыла. Справа и слева легли бревна и доски.

Филимонова работала с веселой злостью. Приговаривая свое «так-так-так», ловко приспособливая и прилаживая деревянные, словно весь муторный ужас ожидания и вся накопленная энергия бесконечного всматривания внезапно прорвались и выплеснулись наружу. У нее закружилась голова, и она, присев на подоконник, вдруг рассмеялась: она вспомнила большую лодку, которую Робинзон построил слишком далеко от моря, которая так и осталась навсегда на суше. Она перетащила контрабас на подоконник, решив, что окончательную сборку осуществит здесь, а после выпихнет катамаран наружу. Тем более что вода уже подползла к самому окну.

6

Небо было огромным, как в степи или открытом море. Филимонова отдышалась и, справившись с дрожью в руках, крутила головой, с замиранием впитывая это ощущение бесконечного вольного пространства. Колокольня оказалась на удивление маленькой, с игрушечной луковкой и крестиком, она тихо уплывала, покачиваясь в своем отражении. У Филимоновой выступили слезы. Как-никак, а именно колокольня спасла ей жизнь.

Она отвернулась и принялась грести в сторону костела. Из доски получилось неважное весло, у Филимоновой было больше надежд на вторую доску – хитроумно прилаженный к корме руль. Из инструментов у нее был лишь консервный нож, как выяснилось, не слишком

пригодный в столярном деле, но тем не менее «Чарли» (имя судну было дано в честь Чарли Хейдена, джазового контрабасиста) уверенно держался на плаву и был даже отчасти управляем.

Струны пришлось снять, сплетя их косичкой и обвязав у основания плотным брезентом, Филимонова смастерила плетень, юркую и упругую. И на редкость эффектную – пробуя на хлесткость, Филимонова так увлеклась свистом и блеском выписываемых кругов, что со всего маху стегнула себя по ляжке. Взвыв от боли, она задрала юбку – на ноге моментально вздулась красная полоса в мизинец толщиной.

Было еще рано, часов десять. Филимонова подумала, что привычное деление времени на часы и минуты уже почти исчезло из сознания, все сложнее стало определять, сколько прошло времени – час, два или пять, да и какая разница? Остались лишь день и ночь, рассвет и закат. Солнце вставало за спиной, значит, там восток. Течение тащило ее на запад, а там горы. Теперь все сводилось именно к этому.

Она вглядывалась в воду, иногда ветви деревьев были совсем рядом, можно было потрогать рукой. Филимонова пыталась угадать, где она проплывает, иногда появлялось странное ощущение, словно она парит над землей.

В темно-зеленой глубине появилась черепичная крыша замка с флюгером. Там, внизу, за кованой оградой розовый сад, когда мимо проходишь – такой аромат! Особенно те, желтые, что пахнут как сливочный пломбир. А дорожки посыпаны толченым кирпичом, от которого подошвы становятся оранжевыми. Дальше – открытая ротонда и сухой фонтан с прошлогодними листьями на дне. Подойдешь к балюстраде – такая даль открывается, аж дух захватывает. Далеко внизу гладь реки, широкая и спокойная, с длинными, вытянутыми островами, поросшими сочной зеленью и желтыми мысками уютных пляжей. Там прошлым летом Эдвард учил ее бросать спиннинг, она только путала леску. Потеряла две блесны. А после они ели щучью уху, от которой пахло укропом. А потом валялись в высокой траве, куря его жуткие французские сигареты, которые Филимонова презрительно называла пахитосками, кашляла, но все равно через минуту просила дать затянуться еще разок.

С Эдвардом ничего не вышло не потому, что он на семь лет был моложе – занятно, она даже мысленно не говорила, что это она на семь лет старше.

«В какой же момент я выпала из жизни? То, давнее бегство из Москвы? Как музыкант в оркестре, потеряв ритм, после уже беспомощными нотами тычет в убежавшую мелодию... Так и я. А после все уже как-то наспех, невпопад... И вроде даже не живешь, а пытаешься куда-то воткнуться, пристроиться, да все не так, все мимо. Все наперекосяк».

Филимонова покачала головой.

«Да уж, второе замужество, побег в Африку – то были годы безусловного безумства. Даже по моим вполне безумным меркам».

У холостяка Новицкого горела командировка, без жены его не выпускали. Филимоновой почудилось, что это знак свыше, ее спасенье. Она хотела вырваться из Москвы любой ценой. Цена оказалась неожиданно высокой – Новицкого отправили на три года в Танзанию. Она там от жары чуть не рехнулась и от безделья чуть не спилась. Дар-эс-Салам был страшной дырой, работы в посольстве не нашлось, а за пределами совколонии работать не позволялось. Новицкий экономил каждый шиллинг – копил на «Волгу» и на кооператив, запрещал включать кондиционер, поэтому весь день Филимонова мокла в тепловатом океане, изредка причаливая к плавучему бару и накачиваясь ананасовым дайкири с дешевым ромом, ожидая как избавления, когда же мглистые облачка над слюдяной Килиманджаро приобретут наконец карамельный оттенок, жара спадет и можно будет пойти домой спать.

7

Пастор, черный и тощий, как сухой стручок, стоял в проеме стрельчатого окна и ждал.
– Вот ведь народ, ни удивиться тебе, ни обрадоваться – чертова немчура! – ворчала Филимонова, подплывая к кирхе. Откинувшись назад, она уверенно и даже отчасти изящно управлялась с рулевой доской. – Ну хоть улыбнись, что ли, селедка ты балтийская.

Пастор молча наблюдал, как она причалила. Подал ей руку и помог взобраться на подоконник.

– Лудзу... – пробормотала Филимонова, вдруг сообразив, что понятия не имеет, как к пастору обращаться – ни имени, ни фамилии она не знала, – пастор, ну и пастор.

– Вы – дамский мастер, – латышский акцент превратил «е» в «э», придав ее профессии галантный иностранный привкус.

– Парикмахэр, – не удержалась Филимонова.

– Тот солдат уворовал мои сухари, – безо всякого перехода сказал пастор, – говорил про черные альбатросы, а утром – уворовал. Я спал.

– Не солдат, дезертир. Дрянь... У меня мешок консервов утянул, горошек болгарский, лечо, ну, перец... Две банки крабов... В собственном соку... – Филимонова неуверенно закончила фразу и, замолчав, внезапно ощутила неловкость – говорить было совершенно не о чем.

Она отвела взгляд, разглядывая отсыревшую штукатурку, чертыхаясь про себя и чувствуя, что у нее начинают гореть уши, как у школьницы. А вон то пятно похоже на трехногого верблюда, дромадера, как на сигаретах. Новицкий такие курил, без фильтра, называл их солдатскими. Молчание стало невыносимым, и она спросила первое, что пришло в голову:

– Зачем вы в колокол звоните?

– Делаю аларм, сигнал.

– Надеетесь, что спасут?

Пастор вздрогнул, поджал губы и, чуть запнувшись, спросил:

– Вы верите в Бога?

Филимонова пожала плечами. Неопределенно кивнула.

Пастор резко развернулся, будто хотел уйти. Уйти было некуда, и он широкими шагами принялся ходить из угла в угол. Остановился перед верблюдом и начал ковырять стену ногтем.

– Счастливый вы человек, – пробормотал он глухо, – Бог для вас абстракция. Верхняя сила, как гром и молния.

«Абстракция, ну да... – подумала Филимонова. – Тебе б такую абстракцию...» У нее перед глазами проплыл дед Артем. Снизу вверх – жилистые ноги, холщовое сукно, бородища, ремень на горле...

Пастор подошел к окну и, морщась, уставился на солнце. Свет вспыхнул в седом ежике головы, вода снаружи журчала и весело хлюпала, забираясь под днище контрабаса.

– Я учил: Бог – ваш отец, он любит вас. Он строгий, но все простит, вы только покайтесь... И он простит. И примет в Царствие Свое, – пастор запнулся, что-то пробормотав по-латышски.

Пастор повернулся к ней сутулой спиной, Филимонова видела, как побелели костяшки крепко сжатых кулаков.

– А после этого... – он замолчал на секунду, словно раздумывая, продолжать или нет. – Если Бог поступает так здесь, на этом свете, почему я верю, что на том свете, в Царствии Небесном своем, он будет добр? Да и есть ли оно – Царствие? *His est enim calix sanguinis* – ибо это есть чаша крови... Сына моего? – пастор почти вскрикнул, взмахнув рукой. – Сына! Он сына своего на казнь отправил... Что мы ему?

Филимонова внезапно поняла, как он напуган. Даже не напуган, подумала она, а потерян. Следующая стадия страха, та, что за паническим ужасом... Паралич воли... Люди религиозные

вызывали у Филимоновой зависть: она была уверена, что у этих-то все разложено по полочкам, никаких неожиданностей с загробной жизнью. Не все так просто оказалось и тут.

Глядя на тощую шею и бритый затылок, Филимоновой стало жаль старика. Она тронула его плечо, осторожно положила ладонь на спину. Хотелось успокоить его, соврать что-нибудь, рассказать какую-нибудь бодрящую чушь. В голове было пусто, а на душе скверно.

– А может, его просто... нет, – произнесла она тихо. – Не существует его...

Вода тихо хлопала, журчала. На солнце напозло облако, вокруг все погасло, стало серым и холодным. Филимонова медленно убрала руку, сунула в карман. Нижняя губа мелко дрожала. «Вот только этого не хватало», – подумала Филимонова.

– Это вам... – Филимонова проглотила всхлип и невпопад засмеялась. В руке у нее был апельсин.

Пастор повернулся. Уставившись на апельсин, он скривил рот, сморщился, гримаса скомкала его худое, небритое лицо. Он начал медленно раскачиваться, будто разгоняясь, и под конец беззвучно зарыдал.

8

Ветер стих. Течение лениво тянуло «Чарли» на запад. Вокруг плыли коряги, телеграфный столб, похожий на крест, мусор помельче. Филимонова разглядела школьный глобус. На горизонте, растопырив корни, ползла вырванная сосна. Рыжий ствол горел на солнце, как ржавая труба.

Филимонова догрызла сухарь. Подтянула ремень на спасательном жилете – подарке пастора. Она не хотела брать, отнекивалась, пока старик насильно не натянул на нее подарок. Жилет был пробковый и обшит оранжевой синтетикой с ярко-лимонными полосками на груди и спине. Из нагрудного кармана торчал обрывок веревки. Свисток, догадалась Филимонова. Она решила не спрашивать историю такого удачного улова. Наверняка жилет приплыл не пустой.

Разбухшие тела и сейчас время от времени всплывали грязными мешками и какое-то время ползли за «Чарли», а после тихо погружались или отставали. Филимонова старалась не смотреть, как выяснилось, привыкнуть к этому не удалось.

Стая уток, истошно крикая, пронеслась над головой. Филимонова вздрогнула и пригнулась. Птицы шумно приводнились, голоса и хлопающая крыльями. Угомонясь, принялись нырять, подолгу исчезая под водой.

«А может, вообще нет никакого смысла, – подумала Филимонова, – кто сказал, что должен быть какой-то там высший разум? Если уж даже поп в такое отчаянье впал... Вот я прихлопну, допустим, комара, выходит, для комара я и есть высшая сила, ведь я могла его и пощадить. А может, надо мной, над нами, такая же Филимонова, вздорная бабенка, ветер в башке гуляет. Ей шлея под хвост попала, она – хрясь! – и от нас лишь мокрое место осталось. Какой тут высший смысл, скажите мне на милость?»

Утки закричали, ругаясь, забили крыльями, как по команде снялись и улетели. Вдали, описывая плавные круги, парили две крупные птицы. Филимонова обернулась, кирха крошечной занозой еще торчала из горизонта, ее колокольни уже не было видно вовсе.

Ноги затекли, осторожно, стараясь не раскачивать плот, она легла на живот, раскинув руки крестом. Позций оказалось не так много – она могла сидеть по-турецки или на коленях. Еще лежать на спине.

Солнце садилось. Она всматривалась в горизонт. Там, на западе должны появиться горы. Рано или поздно. Карпаты или Татры. Там должны быть люди. Горные деревни, отары овец, виноград, теплое молоко, жесткие пресные лепешки с привкусом дыма. Филимонова шурилась, на горизонте поднималось зыбкое море; розоватая дымка, уплотняясь, превращалась в

дрожащие острова с едва различимыми садами и горбатыми мостами, с тонкими минаретами и прозрачными дворцами. Тусклые бусы мерцающих фонарей тянулись вверх и, ускользая, таяли, таяли в небе.

Глаза сами закрывались, разлепить веки трудно – да и зачем? – Филимонова на ощупь просунула кисти рук под веревки. Подумала, как ей все-таки жаль пастора и как вовремя появился жилет, теперь, даже если во сне свалюсь в воду... Про это думать не хотелось, и Филимонова задремала, появились желтые вывески какой-то южной улицы с полосами синих туманных теней, она принялась их разглядывать, уплывая все дальше и дальше.

Кто-то нежный настойчиво тянул ее, вывески здесь уже были неубедительны, сделаны из растекающегося желе. И какой дурак делает вывески из желе, тем более на юге, подумала Филимонова, все ведь растает вмиг. Вывески на юге надо делать из бамбука и страусиных перьев или уж на худой конец вышивать кипарисовыми иголками по шелку. Впереди, за ослепительно белой горой беззвучно играл невидимый оркестр, едва угадывалось тугое уханье большого барабана. Мерный звук приближался, она уже почти увидела барабанщика, необычайно гордого собой, этого красномордого усача, пьяницу и волокиту в малиновом френче с золотыми аксельбантами и здоровенной колотушкой в потном кулаке. Бух! Бу-бух!

За мгновение до пробуждения, уже почти вынырнув из сна, Филимонова вдруг поняла, что это гроыхало ее собственное сердце. Во сне она прижалась ухом к гулкому телу контрабаса и слушала свой пульс, многократно усиленный декой.

«Неужели спасение собственной шкуры и есть главная цель жизни?» – подумала Филимонова и открыла глаза.

Огрызок луны пыльным ободом касался горизонта, в размытом отражении проплывали силуэты коряг. Таинственные и жуткие, они топорщили корневища и черными демонами скользили вслед за Филимоновой.

Она высвободила из-под веревки затекшую руку и, растирая запястье, перевернулась на спину. От простора и бездонной высоты у нее закружилась голова. Сначала все было черно, как тушь, – ей на ум пришло странное слово рейсфедер (она никогда не любила черчения), потом проступили яркие звезды. Они сложились в угадываемые созвездия – вон Медведица, вон – Орион, с сияющей Бетельгейзе в левом кулаке. Когда глаза привыкли и замерцал бескрайний Млечный Путь, Филимонова отыскала в нем куропатку, пастуха и даже жабу. Змея, как и положено змее, ускользала, Филимонова никак не могла найти ее. Она плюнула и теперь просто глазела в небо.

– Ладно, черт со мной, кто такая Филимонова, в конце концов! – пробормотала она. – Черт с ним, с Кронцилсом, да и с Латвией – прихлопнули, как комара, и нету... Но как же предположить, что вот эта торжественная механика лишена логики и смысла? Что все эти галактики, миллиарды звезд и миров всего лишь нелепая дурь и сумасшедшая случайность? И что нет ни высшей справедливости, ни высшего добра, ни высшего разума? Нет ничего, кроме желания спасти свою шкуру. Свою старую, никому не нужную шкуру...

Порой в ночи раздавался всплеск, будто играла рыбешка, иногда что-то булькало, словно большие пузыри вырывались на поверхность из глубины. Потом донесся тихий вой, заунывный и едва уловимый. Филимонова, приподнявшись на локте и затаив дыхание, прислушалась, – точно, тоскливая мелодия теперь была отчетливо различима. Ей даже показалось, что теперь мелодию выводят два голоса: к муторному и глухому добавился второй, высокий и печальный.

Голоса становились громче. Стараясь не шуметь, Филимонова встала на колени. Закрыв ладонью луну, она всматривалась вперед. Голоса были совсем уже рядом. Она достала из-за пояса кнут, который сплела из басовых струн. В висках стучало, щекотная струйка проскользнула между лопаток. Когда глаза привыкли к темноте, она разглядела прямо по курсу острый

конус. Вой доносился оттуда. Постепенно тьма распалась на квадраты и треугольники, появились балки, перемычки и перекрытия.

«Нефтяная вышка? – изумилась Филимонова. – Что за бред, откуда здесь нефть?»

– Эй, на вышке! – нарочито грубо крикнула она.

Вой оборвался.

Нервно поигрывая кнутом, Филимонова крикнула:

– Ну! Кто там?

Наверху заскулили. Гулко грохнуло пустым железом, как по водосточной трубе, кто-то завопил. Неожиданно вспыхнул фонарь. В его желтом свете Филимонова увидела старуху, к ее ногам жался тощий спаниель.

– А вы не Красный Крест? – спросила старуха, близоруко щурясь. – Без очков беда просто...

Филимонова помотала головой.

– Без очков беда просто, – огорченно вздохнула старуха, – мне б консервов для собачки, – проникновенно попросила она, – хоть баночку... А?

– Сухари есть. Немного.

– Да не ест он сухари... Я и так и эдак, ума не приложу, вот ведь беда, господи.

– Бабуль, ты б фонарь зря не жгла, – посоветовала Филимонова, разворачивая «Чарли» бортом к опоре.

– Фонарь-то... да что фонарь... – безразлично махнула рукой бабка, – фонарь на солнечной батарее, считай, вечный. Мне б консервов. Для собачки. Вы не Красный Крест?

Филимонова хлопнула по крашеному железу опоры:

– Бабуль, а что это?

Старуха осторожно перегнулась вниз.

– Это... Радио это.

Спаниель завыл, по-детски всхлипнул и замолк.

– Ох, ты мой сердешный, – бабка согнулась, прижалась щекой, собака лизнула старуху в лицо, – вишь, доча, как оно вышло-то. Зря мы отделились, сейчас русские солдатики нас вмиг бы спасли. А Европе-Германии до нас и дела нету, мы для них – второй сорт людишки. Потому – не велика потеря. Я-то свое пожила, старая перечница, туда и дорога, а вот безвинная тварь за что? Или ты, вон, молодуха в самом соку, вся жизнь впереди.

Филимонова невесело усмехнулась про себя: «Как это так вышло – сначала вся жизнь была где-то впереди, все только и талдычили – Анька, у тебя вся жизнь впереди, а после – бац! – и полтинник. И впереди унылая старость с таблетками и болью в пояснице, а вся жизнь, оказывается, уже проскочила».

– Бабуль, а где мы? Что за место?

– Елгава, доча, Елгава. У нас тут такие места... – мечтательно протянула старуха и вдруг, оживясь, – меня-то по распределению направили, я ведь техникум Куйбышевский окончила. По мостам и мостовым конструкциям, а тут как раз станцию начали. Третья ГЭС по энергоемкости. А живу я в Жаворонках, хоть и далеко от центра – так на кой мне центр, я уж на пенсии, да и Лоренцу там полное раздолье. Он в бору белок гоняет – будьте любезны. Пес ведь охотничий, с родословной, дипломами вся зала увешана. Только из меня-то какая охотница, – бабка хихикнула и подмигнула, – я, доча, свое уже отохотила. Теперь вот зверобой собираю, липовый настой тоже хорош. Я к нему василек добавляю – так, для красоты, голубенько. Во ржи, знаешь, по обочинам. А кофе врач запретил, еврейчик, забыла как его, чистенький такой, аккуратный. Говорит, у нас, Александра Васильевна, – гемоглобин и аорта, нам кофеин совсем не к чему. Хотел на обследование положить в Дубулту, там финны такой центр отгрохали – будьте любезны, министры из Москвы ездят. Но я, знаешь, доча, врачам не очень... – зашеп-

тала бабка доверительно, – как они Бориску-то моего залечили. К ним ведь попадешь – обратно живым не выйдешь.

Филимонова слушала вполуха. Выходит, течение сносит ее на северо-запад. Филимонова представила карту, до Елгавы километров сто двадцать, она их прошла за сутки. В любом случае, хорошо, что ее не тащит в залив. Она боялась оказаться в Балтике.

Вдруг над водой возник звук, от которого у Филимоновой зашевелились волосы. Собачонка, присев, вжала голову, а старуха быстро перекрестилась. Это был нечеловеческий, мяукающий и тоскливый вой.

– Господи... – прошептала Филимонова.

– Сатана души грешные собирает... – испуганно пробормотала старуха, – сатана...

Вой висел в ночи, потом стих. Старуха выключила фонарь, тихо сказала из темноты:

– Ты уж постарайся, доча.

9

Такого тумана Филимонова никогда не видела, казалось, из него даже можно было что-нибудь слепить при желании. Гладкие бока контрабаса были мокрыми и скользко скрипели под пальцами. Медные колки на конце грифа едва угадывались в молочном мареве.

Филимонова развернула рулевую доску так, что «Чарли» постоянно сносило на запад. Должно было сносить на запад.

«Даугавпилсская возвышенность, – ворчала она, вспоминая треп дезертира, – Даугавпилс на востоке, умник. Тебя-то на твоём колесе куда, интересно знать, занесло... С моими-то консервами. Вот ведь дрянь...»

Филимонова ладонью стерла влагу с лаковой поверхности контрабаса, достала консервный нож, помедлила в нерешительности, а после нацарапала кружок и написала «Кронципилс». Вверх провела волнистую линию, река Даугава. Перпендикулярно реке начертила вогнутую дугу – Рижский залив. На пересечении дуги с рекой выцарапала кружок и написала «Рига».

Филимонова с детства обожала разглядывать карты, на дачном чердаке как-то раскопала старинный атлас. Лежа на животе и вдыхая горячую летнюю пыль, часами елозила пальцем по округлым материкам с воинственными мускулистыми туземцами, подталкивала ажурные каравеллы, летящие на пузатых парусах по бушующим океанам, чьи пенные воды были населены усатыми морскими драконами, жуткими спрутами и пучеглазыми рыбами.

– Вот тут Дзинтари, – пробормотала она, – хотя это неважно. Елгава должна быть здесь, ниже...

Она нацарапала кружок и соединила его с Кронципилсом.

– Вот так.

В тумане стали попадаться прорехи, уже можно было различить воду у бортов. Похоже, вставало солнце. Филимонова опустила руку, ей показалось, что течение усилилось. Вдруг «Чарли» ткнулся во что-то мягкое и застрял. Его стало разворачивать поперек потока, Филимонова налегла на руль, пытаясь выровнять накренившийся плот. Чертыхаясь и разгоняя курящийся туман ладонью, она наклонилась, пытаясь разглядеть, на что это она наскочила. «Похоже на скрученный рулоном ковер... с пятнистым орнаментом», – подумала Филимонова. И тут она увидела копыта. Это был жираф.

10

Дьяволы, собирающие грешные души и напугавшие прошлой ночью Александру Васильевну, оказались стаей тощих шимпанзе. Огромный вяз, на котором они обосновались, заце-

пился за шпиль костела и топорщил обглоданные сучья в светлеющее небо. Над водой висел устойчивый запах зверинца.

Приматы прекратили возню и, застыв, настороженно уставились на проплывающую мимо Филимонову. От пристальных взглядов ей стало не по себе, она вспомнила, что эти милые маргышки – каннибалы. Она сочувственно помахала им рукой.

В кильватер пристроилось двухметровое бревно. Приглядевшись, Филимонова различила среди наростов пару внимательных глаз. Она испуганно вскрикнула и принялась наотмашь лупцевать воду кнутом, поднимая веер брызг и истошно крича: «Ах ты гадина! Вот сволочь!» Крокодил с притворным безразличием зевнул и отстал.

Филимонова раскраснелась, от сырости волосы стояли дыбом. Тяжело дыша, держа наготове кнут, она крутила головой, вглядывалась в коричневую тьму, с омерзением представляя всех этих чешуйчатых гадов, рептилий и амфибий елгавского террариума, что притаились на глубине. Солнце встало и уже пекло всюду. Парило, сырая духота дурманила, было душно. Потная блузка прилипла и резала под мышками.

Течение усилилось. Вода теперь закручивалась воронками, маслянисто перекатывалась упругими струями, вспучивалась пузырями и бурунами. Маргышкин остров почти исчез из виду, Филимонова еще раз обернулась – все, Елгава осталась позади.

– Курс – норд-вест! – громко скомандовала она, налегая на руль и разворачивая плот. «Чарли» послушно подчинился, весело прыгая на перекатах, зарываясь грифом и обдавая Филимонову брызгами. Она осмотрела размокшие веревки, проверила крепления боковых бревен. Узлы ослабли и растянулись. Она попыталась подтянуть крепления, но плот так болтал, что Филимонова оставила эту затею. Вцепившись в веревки, она распласталась на контрабасе.

– Главное, чтоб не вынесло в море, – бормотала Филимонова, – в море вынесет – каюк. Крышка. Хотя, какая здесь крышка – крабы сожрут, вот и все похороны.

Скользя локтями по мокрому лаку, Филимонова приподнялась, вглядываясь в танцующий горизонт. Бревна с мокрым стуком налезали друг на друга, носовая доска громко шлепала, а иногда зарывалась в воду, окатывая промокшую насквозь Филимонову.

На буруне «Чарли» подскочил – Филимоновой показалось, что она летит, – а после со всего маху ухнул вниз. Раздался треск. Это трещало старое полированное дерево. Очень скверный треск. Словно внутри контрабаса что-то лопнуло, что-то непоправимо сломалось. Филимонова увидела белую трещину, разрезавшую ее карту между Ригой и Елгавой и уходящую вниз по деке. Неужели все? Вот ведь глупость... Сквозь тошную муть она увидела, что плот несет прямо в огромный водоворот, здоровенная сосна впереди вынырнула, как поплавок, корни пронеслись горгоновой шевелюрой, закрыв солнце. Оторванная белая дверь скользила по кругу, быстро приближаясь к центру водоворота. Подскочив, будто щепка, исчезла в воронке.

Она поняла, что тонет. Корпус контрабаса быстро наливался тяжестью. Вода перекатывалась уже через верхнюю крышку. Филимонова встала на колени, проверила замок на спасательном жилете и перевалилась за корму. Вода оглушила. Звук на секунду исчез, пузыри понесли куда-то вниз, под ногами вспыхнуло тусклое солнце. Она вынырнула, голова шла кругом. Кашляя и отплевываясь, осмотрелась, «Чарли» нигде не было. Течение тянуло ее в водоворот.

Филимонова стянула сапоги. Колотя руками и ногами, она доплыла до бревна, оттолкнулась, ухватилась за корягу. Брызги слепили глаза. Она оставила корягу и, торопливо загребая, поплыла против течения, медленно удаляясь от водоворота.

11

Филимонова очнулась. Кто-то тормозил ее. Она открыла глаза.

Белобрысый мальчишка лет двенадцати, закусив нижнюю губу, тряс ее за плечи. Перегнувшись через борт плоскодонки и вцепившись в ляжки ее жилета, он пытался привести ее в чувство, болтая из стороны в сторону.

– Милый, ты мне так голову оторвешь, – раскачиваясь, как пляжный мячик на волнах, сказала Филимонова. – Вот усердный-то...

Мальчишка перестал трясти и быстро убрал руки. Он оказался сероглаз и лопоух, с выгоревшими добела волосами.

Пытаясь забраться, Филимонова чуть не перевернула лодку. Сообразив, что так дело не пойдет, она велела ему сесть на нос, сама же перелезла через корму. Охнув, легла на спину, вытянула босые ноги, пошевелила пальцами, мальчишка улыбнулся.

– Да-а, – протянула Филимонова с сожалением, – а какие сапоги у меня были! Кавалерийские...

Течение стало вялым, вода тащила обычный мусор и разноцветную дребедень. Плыли обломки мебели, обрывки бумаги, куски пластика, подозрительно вздутое тряпье. Справа неровным гребнем торчали верхушки сосен, оттуда беззвучно взмыла стая золотистых пичуг – зарево покрасило полнеба в персиковый цвет, волосы и лицо мальчишки от заката тоже были рыжеватыми. Он сидел на носу, выставив ободранные коленки, упираясь чумазыми до черноты ступнями в спасательный круг. Это был настоящий корабельный круг, красно-белый, с полустиртым названием судна по кругу: «Ласточка».

– Елгава где? – спросила Филимонова.

Мальчишка посмотрел на солнце, задумался. Почесал щеку – руки его были не чище ног – и решительно выставил руку, указывая куда-то за спиной Филимоновой.

– А Рига? – хитро щурясь, спросила Филимонова.

Парнишка вытянул другую руку.

Слабая, будто с похмелья, Филимонова привстала и огляделась вокруг. Никаких бурунов, никаких водоворотов – ленивая водная даль.

– Чудеса... – пробормотала Филимонова, собирая волосы в кулак и отжимая их. Вода застучала по дну, поползла холодными струйками по спине. Морщась, она расстегнула жилет, сняла. Подумав, стянула через голову блузку.

Мальчишка хмыкнул и, покраснев, перевернулся на живот.

Филимонова вылезла из юбки, изогнувшись, расстегнула лифчик. Ногой стребла все тряпье в кучу и, зажмурившись, потянулась – хорошо!

Звонко прихлопнув на ляжке комара, она провела ладонями по бедрам, ухватила большим и указательным пальцами кожу живота – от былой сдобы не осталось и следа.

– А ты говоришь – диета, – усмехнулась она.

Развесила по борту свои тряпки, потом уселась на корму и уставилась на закат.

Солнце уже наполовину ушло за горизонт. Парень, вежливо отвернувшись, лежал на носу. Филимоновой были видны оттопыренные уши и острый затылок, очерченный пушистой каймой света, как у кротких мучеников на полотнах позднего Караваджо.

Умиление сменилось тоской: дети напоминали ей, что она потерпела поражение на всех фронтах – и как мать, и как жена.

Прикрыла рукой глаза, тут же вспомнились больничные звуки – тревожный шепоток, шаркающий линолеум. Горькая вонь убежавшего молока, удушающая до рези в глазах хлорка,

запах лекарств, лекарств и снова лекарств. Хруст ампул, словно кто-то обламывает по кусочкам твою душу, тонкую и хрупкую, как первый ледок.

Ей казалось, что общая потеря сближает. Должна сближать. С кем-то, возможно, так и происходит, увы, это был не их случай. Игорь захлопнулся, сам остался внутри. Страстно лелея свою боль, он так и не вышел из педиатрического отделения после той ночи. Он превратился в укор, стал бесконечной пыткой для нее и для себя.

Потом появилась свекровь – чуткая Римма Романовна. Заехав на выходные помочь по хозяйству («ну нельзя ж все консервы, у Игорька гастрит, ему бульончик с гренокками, творожок»), застряла, обосновалась. Из страшной детской сладко потянуло французской парфюмерией.

Тогда Филимонова провалилась в какую-то сонную вату, ей стало безразлично. Главное, не думать, твердила она, главное – ни о чем не думать. Когда очнулась – было уже поздно. Она не винила никого – ни врачей, ни мужа, ни свекровь. Начавшись с трагической случайности, дальше сюжет развивался пошло и банально: стук кулака по столу и праведный надрыв: «Не смей так разговаривать с моей мамой!» Банальные фразы, нелепые позы. А дальше? Дальше, наревевшись всласть под грохот воды в ванной, вслушиваться в вечерний бубнеж из-за глухо прикрытых дверей кухни. А ночью, прикуривая от окурка и следя за красной точкой, скользящей вниз, отстраненно прикидывать: шестой – это достаточно высоко?

Короче, из первого замужества Филимонова вырвалась как из вражеского котла – оглушенная, израненная, потерянная. С намертво впившимся в душу страхом. Страхом потери.

12

Одежда почти высохла, Филимонова неспешно оделась. Подумав, натянула жилет. Щелкнула карабином.

– Эй, юноша, вы там не заснули на посту? – спросила она.

Мальчишка повернулся. Часто моргая, он застенчиво улыбался. Филимонова улыбнулась в ответ и спросила:

– Тебя как звать-то?

Мальчишка отчего-то смутился, покраснел. Опустив голову, пожал острым плечом. Соломенная челка скользнула на глаза.

– Ну-у, – протянула Филимонова, – оробел. Как барышня прямо. Так дело не пойдет, давай знакомиться...

Она, балансируя, перебралась на нос и присела на корточки перед ним.

– Я – Филимонова. Анна.

Мальчишка, прижав острый подбородок к шее, втянул голову в плечи. Шмыгнув носом, что-то буркнул.

– Что ж, так и будешь молчать? – Филимонова взяла его за плечи. – Ты что, немой? Или язык проглотил?

Мальчишка испуганно вздрогнул, словно ожидая оплеухи.

– Ну, ладно-ладно, – она осторожно притянула его к себе, глядя голову и прижимаясь щекой к теплой макушке, – ну, будет, милый, будет.

«Неужели немой? Немота ведь может наступить из-за шока, нервного потрясения», – думала она, пытаясь припомнить какие-нибудь истории, подтверждающие это. Не к месту вдруг вспомнила, что вместе с «Чарли» погибли все ее запасы: замечательные хлебные корки с привкусом тины, два апельсина, утонул и прекрасный кнут. И нож! Консервный нож, вот дьявол!

– Все будет хорошо, – прошептала она, – все будет просто замечательно. Теперь нас двое, у нас лодка, весла... Вон, у тебя спасательный круг даже есть... Мы с тобой двинем на запад,

там Литва, Чехия, горы. Татры, слышал? Да и Красный Крест наверняка там. Вертолеты, катера, тушенка, молоко сгущенное с галетами...

Она гладила его спину и бормотала несусразицу, совсем не думая, что говорит. Вдыхала его запах и старалась не разреветься.

От мальчишки пахло летом, летними каникулами в деревне. Его волосы пахли солнцем, детским потом и речкой. Прыжками с мостков «бомбочкой» или «солдатиком» – на счет раз-два-три! – в ледяную зеленую воду под яркой, без единого облачка, синью. Это был запах лета, которое не должно, не имело права кончаться. Оскомины от неспелых ворованных яблок, щекотная божья коровка на коричневой руке – оп! – и взлетела, черный хлеб, посыпанный сахарным песком, что вкусней любого пирожного, занозы, крапивные волдыри, пчелиные жала и прочие благородные, почти рыцарские, раны. Силуэт матери в оранжевой двери, зовущей тебя домой, над ней – неуловимые зигзаги летучих мышей в просветах между черными кружевами лип и мглистый туман, выползающий на опушку остывающего леса.

13

Он заснул, изредка вздрагивая и постанывая. Филимонова, невнятно шепча запутавшиеся колыбельные, где были усталые игрушки, и волчок, и умирающий в степи ямщик, проваливалась в сон: в полупустую электричку, шаткую, громкую и бесконечную. Она шла из вагона в вагон сквозь оглушительные тамбуры, разящие мочой и сырой копотью, безнадежно ища кого-то – вспомнить бы кого, – пол плясал, издеваясь, уплывал вбок, поддавал снизу, проваливался.

Просыпалась. Удивлялась большой звезде прямо за кормой. Было неудобно, край лодки резал бок, ноги совершенно затекли, но Филимонова, боясь разбудить мальчишку, лишь аккуратно ворочалась, не меняя позы.

Его звали Ян – он начертил пальцем две буквы на дне лодки, это уже утром. Филимонова спросила: «Латыш?» – он кивнул.

В лучах дымного рассвета Ян степенно демонстрировал свои сокровища. Открыл крышку кормового сиденья, гордо разложил по дну лодки свое наследство – хлам, забытый кем-то из рыбаков: спутанный моток толстой лески, полпачки серой окаменелой соли в картонке, заплесневелую буханку ржаного, стальной колокольчик, ржавый, жутковатого вида, самопальный тесак с наборной тюремной рукояткой и хищным, кривым лезвием.

Была еще ржавая консервная банка с высохшей землей и тощими мумиями червяков. И скомканная газета на латышском языке от двенадцатого мая.

Филимонова задумчиво распутывала леску, разглядывая выложенное добро. Ян сокрушенно разводил руками, изображая указательным пальцем крючок, и азартно мотал головой в сторону резвящейся утренней плотвы. Филимонова взяла банку, покрутив в руках, брезгливо достала дохлого червяка, понюхала. Сморщила нос и уже хотела выбросить за борт, но передумав, кинула червя обратно в банку.

«Безусловно, рыбная ловля решила бы вопрос пропитания, – думала Филимонова. – Нужен крючок. Пацан в два счета натягал бы целый кукан карасей или как их там... Крючок нужен».

Вдруг она хлопнула в ладоши. Ян застыл и уставился на нее. Филимонова вытащила из уха сережку и, невероятно гордая собой, продемонстрировала Яну великолепный золотой крючок. Ян от восторга чуть не опрокинул лодку. Он скакал, закидывал невидимые удочки и вытягивал невероятных размеров добычу. Филимонова тоже отчего-то принялась мычать и жестиковать. Потом расхохоталась, обняла Яна за плечи и, чмокая в макушку, прошептала:

– Ну видишь, я ж тебе говорила, я ж говорила. Все будет хорошо!

Они подгребли к кленовой роще, верхушки едва торчали из воды, но Ян, обстоятельно хмурясь и очевидно зная толк в деле, быстро выбрал отличное удилище. Обломав сучки, проверил на изгиб. Довольно хмыкнув, быстро и ловко, как бобер, передними зубами очистил кору. Белый и скользкий прут сразу стал похож на настоящую удочку. Из серьги действительно получился замечательный крючок, Ян примотал его каким-то хитрым рыбацким узлом. Вместо поплавка прикрепил пробку.

– Дело за наживкой, – подмигнула Филимонова, устраиваясь на средней скамье и потирая ладони.

Ян колдовал над наживкой. Отказавшись от хлеба – безусловно дилетантский выбор, он пытался ловить мух и пару раз чуть на свалился за борт, заметив наконец укоризненный филимоновский взгляд, мрачно уселся, подперев щеки кулаками. Придвинул пяткой банку, достал скрюченный трупик червя, положил на ладонь, плюнул и начал возить пальцем, размачивая.

Филимонову чуть не вырвало. Она поморщилась, сглотнула и, оперев пятки в перегородку, принялась грести.

14

Сырой лещ оказался неожиданно вкусным.

– Жаль, конечно, что мы не японцы, – кивала Филимонова головой, выплевывая за борт мелкие кости, – и не можем оценить деликатес по достоинству.

Мальчишка, хмурясь, напускал на себя взрослую невозмутимость, но его, очевидно, распирало от гордости, облупившийся нос торжественно сиял, веснушки егозили и подмигивали. Да и было от чего.

Поклевки начались сразу, он лишь закинул удочку. Филимонова перестала грести и молча разминала горячие ладони – по опыту знала, когда клюет, к рыбаку лучше не лезть. Независимо от возраста рыбака.

Она видела, как напряглась спина мальчишки, он подался вперед. Филимонова, вытянув шею, привстала. Поначалу она ничего не заметила: поплавок безучастно приклеился к своему отражению и был неподвижен, Филимонова уже собиралась сесть, как вдруг поплавок мелко заплескал, от пробки пошли нервные, частые круги. Потом, так же неожиданно, замер. На него села синяя стрекоза и тоже застыла.

Малек играет, решила Филимонова, припоминая рыболовные наставления Эдварда, который заявлял, что жить в Кронцилсе и не ловить рыбу – преступно. Он возил Филимонову на лесные озера, чистые и глубокие, с пугающе прозрачной водой и мельчайшим, похожим на соль, песком. На озерах (чаще всего они ездили на Лаури, иногда на Кондорское) она бродила по теплему мелководью, пугая мальков, или загорала на полосатом надувном матрасе. Заплыв на середину, Филимонова склонялась к самой поверхности и вглядывалась в темную глубину. Там, будто в глыбе стекла, застыло волшебное царство: мохнатым можжевельником наползали изумрудные водоросли на проплешины белого песка, подводные лопухи и папоротники топорщили ладони, над ними призрачно скользили увеличенные до устрашающих размеров темно-бархатные рыбы спины.

Эдвард, в соломенной шляпе и болотных сапогах, рыбачил у берега. После варили уху. Филимонова снимала пену, стряхивая ложку на шипящие поленья. Дым слоился и вытекал на лиловую гладь вечернего озера, макушки сосен вспыхивали напоследок и медленно гасли, погружаясь в синий сумрак. Пахло дымом, рыбным наваром, укропом.

Филимонова, не отрываясь, глядела на поплавок, эта неподвижность была подозрительна – ведь стая мальков тюкала бы наживку непрерывно. Вдруг поплавок, не уходя под воду, резко заскользил вбок, она видела, как Ян вздрогнул, ей хотелось заорать «подсекай!», но, бла-

горазумно удержавшись, она лишь закусила губу. Описав дугу, поплавок снова замер. Прошла минута, поплавок был неподвижен.

«Вот ведь сволочь, – сокрушенно подумала Филимонова, – сожрала и ушла».

В этот момент поплавок чуть привстал и лениво лег набок. Скупым и ловким движением – Филимонова услышала даже струнный звон лески – Ян подсек рыбу. То, что это настоящая рыба, а не какая-нибудь мелюзга, стало ясно сразу. Удочка изогнулась в дугу, Ян присел, подался назад. Филимонова помнила, что тут главное не дать слабину, леска провиснет – считай, ушла рыба. Парнишка, несомненно, был тоже в курсе. Он уверенно выводил (Филимонова вдруг вспомнила и это слово) рыбину, следуя ее сильным зигзагам, одновременно не давал ей уйти под лодку. Крупную, матерую рыбу нельзя тянуть как уклею – махом. Может не выдержать леска, крупная рыба требует уважительного отношения, ее нужно измотать.

Наконец у самой поверхности неясно вспыхнул зеркальный бок, Ян сделал шаг назад, подтягивая добычу к борту. Филимонова, не выдержала и закричала: «Давай!!» И здоровенный лещ весомо брякнулся на дно лодки и тут же с новой силой заплясал по ногам, шлепая мокрым хвостом и сияя стальной чешуей.

Потом деловито, с невинным детским живодерством, Ян прикончил леща. Орудия тесаком, выпотрошил рыбину, очистил от чешуи. Принялся разделывать, ловко срезая сочное мясо с хребта.

Филимонова подцепила пальцем одну чешуйку и, положив на ладонь, принялась разглядывать ее. Перламутровый кругляш с металлическим отливом напоминал монету.

15

– Прекрати! Сколько раз нужно повторять, честное слово... – со строгой занудностью говорила Филимонова, – там коряги, а он – головой...

Не дослушав, Ян уже летел ласточкой за борт. Выныривал, цепко ухватившись за нос, забирался в лодку и тут же снова сигал в воду.

– Перпетум мобиле, – ворчала Филимонова и добавляла громко: – Ты что ж думаешь, я шучу?! Я тебе говорю – настоящий аллигатор, сама видела. Крокодил! Какой еще гадости в этой воде нет?

Ян тут же изобразил схватку с крокодилом, поочередно выступая в двух ролях: раздирал зубастую пасть руками, одновременно пытался ухватить себя за ногу и утянуть на дно, хватался за горло и надувал щеки, бил страшным хвостом, поднимая фонтаны брызг. Под конец битвы, вскочив на нос, вытянулся, сложив руки как покойник и закатив глаза, шлепнулся за борт.

Пару раз лодка чуть не опрокинулась – Филимонова хваталась за борт.

«Что я ему – мамаша, что ли? Да пусть хоть башку расшибет, макака бесхвостая», – Филимонова на всякий случай натянула спасательный жилет. Ян продолжал изображать покойников – всплывал лицом вверх, ужасно пуча глаза. Филимонова отвернулась.

Не обращая ни малейшего внимания на брызги и качку, она вымыла нож, обстоятельно протерла лезвие подолом, убрала буханку и соль обратно в кормовой ящик. Плотно замкнула деревянной задвижкой. Потирая руки и придумывая, чем бы еще заняться, и вдруг неожиданно для себя самой заорала:

– А ну в лодку! Сколько можно повторять!

Ян сидел на носу, мокрый, с лиловыми губами, и трясся всем телом. Поднялся ветерок, солнце проворно ныряло в облака и быстро выкатывалось снова, словно кто-то листал страницы. Филимонова села на весла. Исподлобья поглядывая на мальчишку, – не простыл бы, вон, весь аж синий, как гамадрил. Прикинув, где север, она взяла курс на северо-запад.

Ян перебрался на корму и теперь увлеченно расковыривал ссадину на колене. Когда болячка наконец была содрана и пошла кровь, он переключился на удочку. Перекусил зубами леску и по новой привязал крючок. Занялся поплавком, заменил щепку в пробке, подвигал поплавок вверх-вниз, регулируя спуск. Закончив с удочкой, откинулся назад, пялясь в небо и корча рожи. Потом принялся ловить мух. Филимонова неспешно гребла.

16

Как и положено стервятникам, они описывали плавные круги.

Ян их заметил первым, жестикулируя, тыкал рукой поверх филимоновского плеча. Она обернулась. Две крупные птицы, раскинув неподвижные крылья, неспешно парили над горизонтом.

– Фигурное катание просто, – усмехнулась Филимонова, наблюдая за их ленивым скольжением. – Орлы?

Ян замотал головой.

Филимонова вспомнила дезертировы байки про стервятников, пробивающих клювом череп, усмехнувшись, спросила:

– Черные альбатросы, что ли?

Мальчишка часто закивал.

– Ну вот что, ты давай следи за своими альбатросами, а я грести пока буду. Если что – воздушную тревогу объявляй, лады?

Ян серьезно кивнул и тут же организовал наблюдательный пункт на носу лодки. Складывая руки то биноклем, то подзорной трубой, он уже не спускал с птиц глаз.

– Слава богу, воздух теперь под контролем, – добродушно бросила Филимонова через плечо, быстро мрачней и снова проваливаясь в хандру.

Та давняя беда стала только репетицией всех грядущих несчастий – Филимонова была в этом уверена. Как все русские девицы, она с детства была суеверна по мелочам, стучала по дереву, плевалась через плечо, верила в разбитые зеркала, черных кошек, сглаз и пролитое молоко. После смерти Сашеньки она стала сторониться друзей, избегала новых знакомств, безусловно разглядев печать злого рока на своей судьбе. Нахрапистый Новицкий возник очень кстати, Филимонова к тому времени уже всерьез подумывала повеситься – по семейной традиции. У Новицкого горела заграничная поездка. Это было и объяснение в любви, и предложение руки одновременно.

Филимонова согласилась. В возможности исчезнуть (она даже забыла спросить, куда его отправляют) был привкус какого-то волшебства. Однако от перемены мест, увы, сумма не меняется, малоформатный ад, поселившийся у нее в голове, благополучно перебрался вместе с филимоновской головой в Танзанию. Трех лет она высидеть не смогла, ноябрь был пятым месяцем, в среду второго декабря в Москве шел обычный снег с дождем, но аэропорты давали «добро» на посадку в условиях ограниченной видимости.

Да, все верно: не ходите, дети, в Африку гулять, как мантру бормотала Филимонова на все лады, толкаясь в очереди к мрачным пограничницам на паспортном контроле прокуренного насквозь Шереметьева.

«От кого я бегала? – думала Филимонова, лениво шлепая веслами. – От себя самой? Почему боялась жить? Придумывала тысячу оправданий, вина во всем злой рок. Вся жизнь прошла с оглядкой, прошаркала в полноги. Сама с собой крапленой колодой играла. А козыри все черви да черви... Яблочные. Я даже не про регалии, успехи, достижения, хотя и в этом департаменте не так все ладно. Ведь не зря же нам с детсада долбили – скромность облагора-

живает! Вот ведь как удобно – скромность! Никакой ответственности – вот твоя скромность, главное – оставьте меня в покое. И не ври хоть себе про скромность».

Настроение у нее испортилось вконец, но мысли уже неслись сами собой.

«Ведь стыдно, как все-таки совестно, так бездарно, скучно и никчемно прокоптить жизнь. У меня ж университетский диплом. У бывшей парикмахерши, у бывшей корректорши, у бывшего экскурсовода, у бывшей с-меня-взятки-гладки, что там еще затерялось в трудовой книжке бытия? Бывшая жена, бывшая мать, бывшая страстная любовница – везде ставим прочерк. В анкете лишь фамилия, а дальше – не состою, не имею, не являюсь. Да, увы, не сложилось. Какое удобное словцо – не сложилось, и все тут. Вроде я тут и ни при чем. Ох, как муторно...»

Ян вскочил. Мыча, замахал руками. Филимонова увидела, что стервятники теперь гораздо ближе. И теперь стало ясно, что это действительно крупные птицы. Они продолжали выписывать филигранные круги, неспешно приближаясь к лодке.

Филимонова встала. Чернота их оперенья напоминала воронью, с глухим фиолетовым отливом. Равнодушные пернатых обнадеживало, птицы не проявляли интереса к лодке. Однако размеры настораживали – Филимонова никогда не видела таких крупных птиц.

Она вытащила из уключины весло. Взяла его наперевес, словно всю жизнь участвовала в деревенских драках. Ян испуганно кивнул.

Птицы застыли прямо над лодкой. После, сложив крылья, одна за другой ринулись вниз. Филимонова остервенело стала махать веслом и первым делом сшибла за борт Яна. Он тут же вынырнул и ухватился за борт. Филимоновой удалось шваркнуть по крылу одной пернатой твари, другая почти ухватила ее за волосы перепончатой лапой.

Птицы поднялись, покружились и снова спикировали. На этот раз Филимонова не размахивала веслом, а выжидала. Первую тварь она очень удачно сбила, смачно перетянув ее поперек корпуса. Та, каркая, грохнулась в воду, но тут же оправившись, взлетела, обдав Филимонову водой. Второй птице удалось полоснуть ее по плечу. Боли не было, кровь, брызнув, разукрасила красным горохом дно лодки. Вид крови не испугал, лишь разъярил Филимонову. Осклившись, она что-то рявкнула. Щеки ее пылали, волосы медной копной стояли дыбом, глаза горели, и черт был ей не брат.

Пернатые сволочи оказались сообразительными – они изменили тактику. Теперь птицы не пикировали, падая камнем, а стали нападать одновременно с разных сторон.

Филимонова крутила веслом над головой. Птицы хлопали крыльями, пронзительно вереща и щеря желтые клювы, металась по кругу. Все было хорошо, оборона работала, но Филимонова поняла, что так она долго не протянет. Руки наливались свинцом, немея с каждой секундой. Сердце колотилось, в голове ухало. Глаза заливал едкий пот, солнце вспыхивало то сверху, то сбоку. Она оступилась и, зацепившись за лавку, грохнулась в воду. Падая, Филимонова увидела, как хищники взмыли вверх, готовясь к финальной атаке. Отплевываясь от воды, она пожалела, что на ней жилет, утонуть сейчас было бы явно предпочтительней. Совсем рядом мелькнули испуганные глаза Яна. Филимонова тоже ухватилась за борт. Птицы, набрав высоту, неспешно кружили.

Филимонова прикинула, успеет ли она забраться в лодку. Вряд ли. Тут ее осенило:

– Вверх дном! Лодку переворачивай!

Вдвоем они навалились на борт и плоскодонка легко перевернулась. Поднырнув, они оказались в гулкой темноте. Какое-то время ничего не было слышно, кроме их собственного фырканья и сопенья.

– Может, улетели? – отчего-то шепотом спросила Филимонова. Ян мрачно помотал головой. И тут сверху обрушился ад. Грохот, злобный клекот, скрежет, хлопанье, дробный стук.

Стало жутко, как на чердаке в грозу, когда град и дождь сливаются с воем ветра, от грома приседает крыша и охают балки.

Лодку трясло, она вздрагивала от мощных ударов. Филимоновой показалось, что ей уже видны трещины, что еще миг и дно проклюнется и вспыхнет ярким решетом. А после треснет и развалится, как скорлупа трухлявого ореха. Она поймала руку мальчишки, сжала его запястье и закрыла глаза. Хотелось молиться, но она не знала, как и кому.

И вдруг все кончилось. Кончилось внезапно. Так кончается июльский ливень. Они, ошалев от тишины, долго прислушивались, потом Ян предпринял вылазку. Вынырнул, мотая головой, улыбнулся и выставил вверх большой палец.

17

Филимонова проснулась с ощущением предвкушения счастья. Неясным и неуловимым, как в детстве, что бывает накануне дня рождения, в ожидании подарков, гостей, веселья. Особенно если отмечали на даче, на открытой веранде. Родилась она в самом конце мая, Филимонова-старшая, высокая и красивая, по-докторски обстоятельная, произнося тост, непременно шутливо добавляла: «Эх, Анютка, не доносила я тебя самую тютельку, будешь теперь всю жизнь маяться».

«Всего-то денек...» – не открывая глаз, улыбалась Филимонова, пытаясь удержать разбегающиеся пестрые блики. Уже не вспомнить, что снилось – все растаяло, осталось лишь щекотное нетерпение и сладкое томление в ожидании надвигающейся радости.

Постепенно и это чувство выветрилось, и Филимонова о нем забыла. К полудню утренний ветерок ослаб, а после выдохся вовсе. Стало душно.

Филимонова стянула жилет, сунула его под лавку. Чуть посомневавшись, она сняла и блузку. Поправила бретельки на лифчике. Будем считать, что это купальник, решила она, косясь на Яна. Парнишка до этого лениво рыбачил с кормы, таскал мелочь – красноперых плотвиц. Теперь он приклеился взглядом к филимоновскому лифчику. Чувствуя, как разгораются ее уши, она хотела было одеться, потом плюнула – чего уж теперь-то. Осипшим голосом ласково предложила:

– Хорошо б таранки засушить, как ты считаешь?

Ян шмыгнул и, не моргая, кивнул.

– За поплавком следи.

Ян, не отводя взгляда от ее груди, кивнул опять.

Филимонова шлепнула веслом, окатив Яна брызгами.

– Юноша! – скомандовала она. – Рыба – там!

Филимонова уже не гребла, бросив весла, откинулась назад. Вязкая духота дурманила, от пота было гадко и липко. Казалось, все вокруг замерло, остановилось. Вода стала тусклой, словно подернулась жирной пленкой. Если бы не хвойные верхушки, ползущие в отдалении, можно подумать, что и течения нет. Редкие облака незаметно побледнели и растворились, придав вялой синеве мутный меловой оттенок.

Мальчишку сморило, он спал в неудобной позе, вывернув вбок ноги и подложив под голову спасательный круг. Филимонова сама клевала носом, то и дело проваливаясь в дрему. Просыпалась, вздрагивая, с недоумением тарасила глаза. «Надо прилечь, – подумала она, – голова гудит – сил нет». Раскачивая лодку, неуклюже перебралась на нос.

Горизонт на западе как-то странно уплотнился, там появилась отчетливая полоса. Филимонова протерла глаза: сквозь марево она совершенно отчетливо видела, как над полосой поднимается размытый горячим воздухом столб дыма.

– Господи... – прошептала Филимонова, – земля...

Полоса приближалась, наливалась цветом, разворачивалась. В зыбкой фиолетовой дали Филимонова различила туманные отроги, обрывы, клубящиеся кроны деревьев. Угадывались хребты, сияли снежные склоны, пронзенные стремительными пиками и крутолобыми вершинами.

– Татры... – проговорила чуть слышно Филимонова, – а может, Альпы?

В скользящих струях тумана она уже разглядела дороги, что стягивали серпантинном дремучие утесы.

У нее потекли слезы. Все сразу расплылось, но она ухитрилась разглядеть горбатый мосток над ущельем, а ниже остроконечные крыши деревни в тенистой долине. Ей казалось, что она видела их так ясно, что запросто могла бы угадать даже названия улочек и площадей, могла бы сказать, который час на часах деревенской ратуши – без пяти пять – и какого цвета парик на голове у важного дорфмайстера.

– Господи... – снова прошептала Филимонова и вдруг заорала во все горло: – Земля! Земля!!

Прижимая к груди очумевшего спросонья Яна, она задыхалась, рыдая и смеясь одновременно.

– Гляди, там люди! Видишь? – кричала она, тыча рукой вдаль.

Там и вправду мерцали туманные огни, зажигались, моргали и гасли. Филимонова была уверена, что это отсветы поисковых прожекторов, маяков, факелов. Ведь жители уже заметили их лодку и всей деревней, высыпав к воде, подают сигналы.

Внутри у нее все ходуном ходило. Всхлипывая и громко икая, ей почти весело подумалось – вот ведь будет умора именно сейчас умереть от какого-нибудь паршивого инфаркта миокарда. Она сгребла Яна в охапку, уткнулась ему в макушку и заревела.

Ян мычал и пытался вырваться.

Вдруг воздух неуловимо качнулся, будто гигантская волна мягко прошла от горизонта до горизонта. Едва колыхание погасло, возник низкий утробный рокот, словно наверху катали концертный рояль по старому сухому паркету.

– Это что? – прошептала Филимонова, крутя головой. – Что это?

Ян возбужденно размахивал перед ее лицом руками, яростно мычал.

Филимонова медленно повернулась на запад – от ее земли не осталось и следа. Не было никакой альпийской деревни с горбатым мостом, не было отрогов, хребтов, сумрачных долин, не было ничего, кроме зловеще набухающей, черной бури. Буря неотвратимо ползла на восток, прямо на них, змеясь червями смерчей вдоль горизонта, наливаясь и ворочаясь клубами жирного паровозного дыма. Чернота была пропитана электричеством, внутри туч искрило, разряды пронзали всю толщу сверху донизу, пульсируя и затухая.

Подул ветер, неожиданно пахнуло арбузом. Чернильный край быстро наполнился синеем, полнеба уже затянуло густым курящимся адом. Чернота надвигалась и по воде. Четко прочерченная граница неслась навстречу лодке, таща за собой шлейф черноты и затягивая, словно штормой, светлую гладь. Еще миг – и небо потухло.

Грохнуло – мощно, с треском и пушечным оттягом. Тут же, распоров небо сверху вниз, в горизонт жажнула шипящая молния. Налетел порыв ветра, рванул волосы. Филимонова, запахнув блузку, впопыхах натягивала спасательный жилет. Орала: «Круг! Надень круг, кому говорить!» Бледный Ян послушно влез в круг.

Ветер швырял косые струи то ли дождя, то ли брызг. Филимонова, неуклюже зарывая весла, пыталась встать кормой к волне. Ничего не получалось, лодку швыряло, волны мельтешили вразнобой, то и дело перехлестывая через борт.

«Мамочка, мы ведь тонем!» – мелькнула мысль, по дну плескалось воды уже по щиколотку. Оказывается, Ян заметил это еще раньше и теперь со злым упорством вычерпывал воду консервной банкой. Громоздкий спасательный круг мешал ему.

– Не смей! – прорычала Филимонова, но было поздно, Ян рывком стянул его с себя и бросил на корму. Подоспевшая тут же волна поставила круг колесом и, ловко подбросив, смахнула за борт. Бело-рыжий бок вынырнул неожиданно далеко, мелькнул в серой круговерти и исчез.

Полыхнула молния, за ней другая, тут же прямо над головой так ухнуло, что заложило уши. Звук словно выключили, все вокруг стало ватным, лишь в голове весело зазвенело. Мелькнуло лицо Яна с безумно круглыми глазами, отчего-то сверху, словно он подпрыгнул. Лодка вздыбилась, водяное месиво оказалось за спиной, Филимонова схватилась за весла, но те выскользнули из уключин. Она неудержимо заваливалась назад. Мелькнула рука с растопыренной пятерней и тут же исчезла.

Ядовито-лимонная молния вспыхнула снизу. Филимонова увидела свою босую ногу, удивилась, и ушла с головой под воду. Она вынырнула, хватая ртом воздух. В это мгновение новая волна хлестнула по лицу. Следующая, оглушив, накрыла ее с головой.

«Утонуть в спасательном жилете...» – подумала она. Голова кружилась, ее мутило. «Иронично», – повторял кто-то на все лады. Филимонова хотела грести, но ощутила внезапно такую слабость, что лишь безвольно развела руки в стороны. Ее охватила смертельная усталость, тело налилось тяжестью. Волна подбросила ее, Филимонова приоткрыла глаза и увидела пляшущую вдали лодку. Яна там не было.

«Ну вот и все», – с ленивым облегчением подумала она, проваливаясь в вязкую, но бесконечно блаженную истому.

18

Хворый обмылок луны завернули в сизую вату, клочья этой ваты валялись по всему небу. «Как неопратно, – сонно осудила Филимонова, – вот ведь неряхи, кто ж так луну упаковывает?» Сквозь темные прорехи в вате моргали слепенькие звезды. Такие тусклые, даже отразиться в воде не было сил, а вот от луны по волнам струилась сияющая гармошка. В пыльном свете лунного отражения Филимонова мерно качалась, течение неспешно влекло ее неведомо куда.

Сознание ее блуждало по кромке бреда, иногда она проваливалась в пустоту. Если б могла, она бы там и осталась. Насовсем. Но голова вдруг начинала гореть, сжатая мучительно-тесным панцирем грудная клетка пылала, нечем было дышать, и Филимонова против воли открывала глаза. Снова малахольная луна уныло качалась и казалось, что конца этому уже не будет никогда.

Она пыталась ослабить ремни жилета, но пальцы лишь беспомощно ковыряли мокрый брезент. У нее жар, это определено, но сил не было даже коснуться лба. Еще она пыталась что-то вспомнить, что-то важное. Что-то неуловимо проскользнуло, она даже почти разглядела. Почти... Филимонова закрыла глаза. И снова запрыгали молнии, горбатые волны, пустая лодка. И слишком много воды.

Кто-то бесцельно стучал по железной бочке. Звук, сперва едва различимый, после начал раздражать. Теперь сводил с ума. Концепция ада повернулась новой, необычной гранью, Филимонова замычала. Сквозь веки разглядела косой парус, он острым углом царапал луну. Бесшумно проплыла большая труба и длинный корпус корабля. Будто в тире – черная жестянка, битая мишень. «Под яблочко баржу бери, – шептал Эдвард, словно боясь вспугнуть, наваливаясь и вжимая ее ладони в приклад винтовки. – Нежно...» «Ну уж, нежно», – шептала Фили-

монова в ответ и спускала курок. Нежно. От его рук пахло табаком и лесной земляникой, а щетина щекотно царапала ухо.

И тут она вспомнила.

Настал апрель, и всем вдруг стало наплевать на прически. Тем днем Филимонова пришла поздно. Пока проснулась, понежилась, после долго пила кофе и красила ногти, на улице два маляра в пестрых комбинезонах серьезно курили, разглядывая свежоштукатуренный фасад. Она постояла с ними, прислонясь к липе. От дыма приятно поплыла голова, за стеклом возник Гунар Соломонович в старомодных, круглых, как велосипед, очках. Она улыбнулась, а он, еще сильнее выпучив глаза, спрятался в тень. «Похож на рака – смешной», – подумала Филимонова, хлопая дверью, вдыхая резкую свежесть «Шипра», Гунар Соломонович был хранителем традиций: после стрижки непременно освежал бритые затылки мальчишек, стариков и мужчин среднего возраста исключительно «Шипром». Все мужское население Кронцилса благоухало этим одеколоном. Была, правда, еще одна парикмахерская на вокзале, где не освежали, но там мастером был некто Шпак, которого Гунар Соломонович презрительно называл гоем и в конкурентах не числил.

Филимонова, стремительная и красивая, прошла сквозь косой сноп солнца – волосы вспыхнули медью, – бросила сумку и, уже натягивая халат, заметила Гунара Соломоновича. Тот настороженной совой выглянул из темноты подсобки. Стоял и мял ладони, словно хотел переломать пальцы.

Она медленно подошла (если делать аккуратно, то, может, можно что-то поправить – мелькнула мысль), Гунар Соломонович приоткрыл рот, морщась как от боли, Филимонова вцепилась ему в лацканы и зашептала: «Нет, нет, нет!», не давая говорить. Но все равно услышала «мокрое шоссе», а после, сквозь всхлипы и вой, «тридцать второй километр», будто это имело хоть какое-то значение.

В пятку что-то мягко ткнулось, Филимонова лениво поджала ногу. В онемевший мозг хлынули акулы страсти, про перекушенных пополам купальщиков, про страшные рваные раны и хищные зубы. Газетные фото жертв, руки, ноги – крупный план: дрянная печать и серая бумага делали их раны еще кошмарней. Как в книжке «Судебная медицина», что тайком от матери она таскала в школу и показывала по секрету подружкам в физкультурной раздевалке. Труп утопленника-самоубийцы, обмотавшего себя цепью и выловленного через три недели, – фото на странице двести пятнадцать.

Тут в виски кто-то старательный начал вкручивать ржавые болты, от боли хотелось кричать, но не было сил на крик, Филимонова лишь засипела, как пробитый мяч. «А может ли от жара лопнуть голова или разорваться сердце?» – злорадно спросила она у старательного. У меня такая температура, вода должна вокруг кипеть.

Снова появился силуэт баржи, теперь совсем рядом. Вот это громада! Это уже не тир. Тупой нос, чугунный якорь, морковная грязь ватерлинии. Черный борт угрюмо полз мимо. Проплыли смытые солнцем и бурями буквы. Упустила, не разобрать, подумала Филимонова, вглядываясь в слепые иллюминаторы темных кают. Даже если это и бред, отчего не попытаться? Терять мне, видит Бог, нечего.

И она, слабо и негромко, стала звать на помощь.

«Или это уже рассвет?» – Филимонова лежала лицом вниз и уткнув подбородок в железный край койки. Одна рука неудобно вывернулась, другая свесилась плетью. Пальцы касались ледяного пола. Пол состоял из железных листов с крупными выпуклыми заклепками. Некогда он был покрашен серым флотским маслом, сейчас от краски остались одинокие островки с обглоданными берегами, остальное съела ржа.

Филимонова разглядывала эту географию, шея и спина тупо ныли, но пошевелиться не было сил.

Глаза постепенно привыкали к мраку. Из темноты выступили неясные очертания, после, утратив таинственность, они оформились в банальную рухлядь.

В углу была свалена мебель и домашний хлам: торчали гнутые лапы массивного стола, какие-то золоченые багеты, упирались в потолок ковровые рулоны и шишковатые пики карнизов. Словно корона, мерцала тусклой бронзой рогатая люстра. На полу поблескивало битое стекло и чернела засохшая лужа какой-то гадости.

Из угла воняло старьем, тянуло прокисшими окурками и аммиаком. Оттуда доносился едва различимый звук, что-то почти бесшумно там копошилось и царапалось.

А снаружи кто-то пел. Детский голос выводил полужнакомую мелодию, что-то вроде «Аве Мария». Красиво и жалобно. Потом раздался смех, потом стало тихо. В углу по-прежнему еле слышно шуршали, будто тайком кушали ириски.

«Знаем-знаем, кто там, – подумала Филимонова, брезгливо убирая руку с пола, – знаем...» И, охнув, перевернулась на спину.

В потолке мутно светилось квадратное окно, скорее люк, забранный в крупную решетку. По стенам сползали трубы разного калибра и толстые жгуты проводов в черной обмотке. Переплетаясь и путаясь, они терялись в сумрачных углах и в кучах сваленного хлама. Рядом с железной проклепанной дверью стоял табурет, на нем антикварный глобус на бронзовой ноге. К северному полюсу прилипла перевернутая вверх дном розетка для варенья, само варенье засохло черными потеками, достигающими экватора.

«Смородина, похоже, – решила Филимонова, разглядев в черноте горошины ягод, – да, что и говорить, глобус, безусловно, устарел».

Снаружи снова запели, теперь громче. Густой баритон накручивал кавказские рулады. Филимонова узнала мелодию. Это была одна из тех удачных песен, что транслировали по вагонам при подъезде к Москве в поездах дальнего следования.

Филимонова закрыла глаза: пассажиры, толкаясь тюками, фибровыми чемоданами и коробками с фиолетовыми кляксами по углам от протекшей «Лидии», хрустя корзинами с румяными фруктами, источающими медово-дынный аромат, уже выдавливались в коридор и тамбур, лезли головами в раскрытые до упора окна, щурясь от ветра и сажи, силились ухватить глазами кометы букв пригородных перронов, а вдали проступали, плаваясь в столичном смоге, островерхие башни высоток.

В памяти всплыл веселый перестук, пружинистость пола, мерное покачивание, отдаленные гудки большой станции, уханье и лязг, тарабарское эхо вокзального репродуктора, а главное, ожидание чего-то веселого и радостного. Филимонова улыбнулась и задремала.

20

Она проснулась от громкого шарканья. Что-то по-медицински тонко звякнуло (острая сталь, хром, стекло), кто-то выматерился, лениво и с кавказским благодушием. Филимонова узнала акцент и голос – певец.

Разлепив веки, она увидела широкую темную спину и жирную складку затылка. Пыхтение продолжалось, что-то там у кавказца не клеилось, а когда он повернулся, то Филимонова

вздрагнула – первое, что она увидела, – был шприц. Маленький, игрушечный шприц. Мелькнула мысль: шприц нормальный, это он просто велик, вон лапища какая.

– Витаминчик. Зачем пугаешься? Витаминчик А, еще Бэ и Цэ. Плюс чуть-чуть успокаивающего. Диазепамчик. Очень шикарный коктейль. Для нормализации вегетативных нарушений. Ну? – кавказец оказался огромен, красногуб и по-детски голубоглаз.

На нем был засаленный до блеска то ли камзол, то ли мундир, с золотыми шнурами и эполетами, без пуговиц, они были вырваны с мясом, да и вряд ли застегнулись бы – кавказец перерос свою тужурку размера на три.

– Ну? – повторил он и растянул губы в мокрой улыбке, поигрывая шприцем. – Ну же!

Вопреки устрашающим размерам, рука оказалось достаточно легкой. Филимонова, для порядка ойкнув, перевернулась с живота на спину, запахивая бесконечную полу линиялого халата.

– Вот так... Теперь мы чуть-чуть поспим, – промурлыкал кавказец, шаркая и собирая звонкие инструменты. Словно вспомнив что-то, повернулся и спросил:

– А вы, случайно, не артистка, нет?

Филимонова засмеялась, хотела сострить, но язык потешно заплелся и выдал какой-то французский звук. Артистка... В голову нежно вкатилось чугунное ядро и, напрочь заслонив свет, утянуло Филимонову в ватную темень.

Тут же, расправив худые плечи, восстал из тьмы Олег Викентьич, главреж школьного драмкружка. Кадыкастый и бледный, с беспокойными руками, вечно стылыми, которыми он невзначай трогал ее коленку, уламывая взять роль Тома Кенти. После выяснилось, что ей придется играть обе роли, а в сценах, где двойники появлялись вместе, принцем рядили придурка Головятенко из восьмого «А», а ему даже и слов не нужно было учить, лишь в начале две реплики да в конце: «Виват, да здравствует король!»

Викентьич раздобыл настоящий реквизит и костюмы, декорации рисовал Ашот, его приятель-художник из кинотеатра «Авангард». Особенно удались трущобы. В «Комсомолке» появилась статья и серое фото, на котором можно было разобрать, как на почти настоящем троне сидит, поджав под себя ноги, голенастая Филимонова (восьмой «Б» класс) с Великой печатью королевства в руке и колет ею орехи. Орехи, кстати, были настоящие, фундук.

Короче, это был триумф и это было чертовски приятно.

Дальше вспоминать было скучно и стыдно: уже начались каникулы, стояла убийственная жара, а у него пальцы были как из морозилки. И несло жареной рыбой. Торопливая возня на шишкастом диване оказалось совсем не похожа ни на томные рассказы Мопассана, ни на жгучие истории дачной оторвы Ирки Соломатиной, что учила Филимонову курить взятку и целоваться, как Милен Демонжо – взасос.

Магический свет ramпы оказался банальным электричеством, а корона при ближайшем рассмотрении была всего лишь кустарной поделкой из папье-маше, выкрашенной бронзовой краской и обклеенной по кругу разноцветными пуговицами.

21

– Вот именно! Какой вы, к чертовой матери, старший санитар! Моя правая рука... Да мне такую руку хочется отсечь и выбросить к свиньям! Ист дас клар, херр Чантурия? – с силой повторила докторша, напирая на кавказца. – А вы, дорогуша, проходите, проходите. Присядьте вон там, – неожиданно мило обратилась она к Филимоновой и, улыбнувшись, кивнула в сторону кресла.

Докторша была миниатюрной блондинкой, невероятно чистой, с розовым, словно до скрипа вымытым лицом и быстрыми серыми глазами. Бесцветные волосы были стянуты в тугую дулю на остреньком затылке, а халат, с крахмальными заломами острых складок, казался, нежно похрустывает, как снег на морозце.

Филимонова, подобрав безразмерный подол в кулак, боком протиснулась между дверью и тушей старшего санитаря, тихо опустилась в кресло. Сложила руки на коленях.

– И оставьте в покое вашу бородавку! Смотреть противно... – брезгливо добавила докторша.

Старший санитар молчал и обильно потел. На нем был тот же сальный камзол на голое тело и цветастые шаровары. На груди, из жесткой седеющей шерсти, торчала фиолетовая, размером с виноградину, бородавка, которую Чантурия вдохновенно теребил. Старший санитар вздрогнул и вытянул руки по швам.

– Фрау Ульрика, – раздался детский голос (Филимонова оглянулась, в углу на корточках сидела нахохлившись девчушка лет одиннадцати и что-то старательно чирикала на разложенных по полу листах), – а давайте эту бородавкуотрежем и заставим Каху ее съесть? Чтоб знал! Давайте?

Докторша рассмеялась, Чантурия испуганно осклабилась, а девчушка, прихрамывая, подошла к великану-кавказцу и ткнула его карандашом в грудь.

– Ист дас клар, херр Чантурия? Чик-чик!

И она быстро помахала карандашом как скальпелем.

Санитар безнадежно оскалился, кусая жирные губы. Докторша, наконец, улыбнулась. Не глядя на него, бросила:

– В последний раз. Это ясно?

– Все будет в лучшем виде, фрау Вагнер, клянусь. Честью клянусь, фрау Вагнер.

– Ступайте, Чантурия, – докторша махнула ленивой рукой, – и вымойтесь наконец... Воды, что ли, нет?

Старший санитар, кланяясь и пыхтя, задом выпятился в коридор. Он бережно притворял железную дверь, когда девчонка звонко крикнула: «Чик-чик!» – и засмеялась. Прихрамывая, она подошла к Филимоновой.

От пристального взгляда Филимоновой стало не по себе. Голова кружилась. «Это от кавказских витаминчиков», – подумала она и слабо улыбнулась девчонке. Та, приоткрыв рот, постучала обкусанным карандашом по верхним зубам. Долго разглядывала Филимонову, потом отвернулась, проковыляла в свой угол. Устроившись на полу, продолжила рисование.

22

– Прошу великодушно простить наши дискуссии, сами видите, какой персонал, – докторша чуть усмехнулась. – Хотя, при всей своей нечистоплотности и кавказской безалаберности, Каха Чантурия просто незаменим. Да и как специалисту ему цены нет. Не поверите – прекрасный медработник.

– Верю. Он мне укол сделал. Прекрасно... – осторожно согласилась Филимонова.

– Ну вот видите! Именно прекрасно! – воодушевленно воскликнула докторша. – И давайте знакомиться. Главврач Ульрика Вагнер.

И она выставила маленькую острую ладонь.

Филимонова пожалала, представилась, уловив сладкий запах детского мыла. Земляничного.

– Хотя, безусловно, вы правы, – понизив голос, произнесла фрау Вагнер. Филимонова не проронила ни слова и ожидала, с чем это докторша решила согласиться.

– Каха – животное, грязная скотина. И почему уцелел именно он, а не, допустим, Круминыш? Или Муромцева, Татьяна Харитоновна? Вот уж врач божьей милостью, на ней вся моя психотерапия держалась! Или Гинзбург? Вы знаете, как он играл Шопена?

Она застыла, повернулась в профиль:

– У него незаконченная консерватория, бросил, ушел в медицину, представляете? Подвижник, народоволец, вундеркинд! Что мне особенно нравилось? Там еще в середине такой быстрый кусок... та-ра-ра-та-та... не помнишь, Велта? – фрау Ульрика спросила хромоножку.

– Ноктюрн до-диез, – ответила девочка, не отрываясь от рисования.

– До диез... – повторила фрау Ульрика, – видите. А тут эта скотина... – брезгливо закончила она. Капризно дернув плечом, подошла к письменному столу. Пошарив в ящике, достала сигарету и закурила.

«Вот это жизнь, даже курево есть!» – восхитилась Филимонова, разглядывая когтистые лапы письменного стола, похожего на музейный саркофаг, с резной путаницей полированных лилий и мордатых роз по верхней раме столешницы, с уродливыми карлами, выглядывающими из-под виноградных листьев, и рыцарями в островерхих шлемах, очевидно, спешащими выручать своих красавиц принцесс. Пол покрывал большой ковер, мрачноватый на филимоновский взгляд – хищные малиновые цветы по угольному полю охотились за апельсиновыми пауками.

«А может, это просто узор, а пауки у меня в голове? – До Филимоновой доплыл приторный сигаретный дымок. – Как жженный сахар, петушки на палочке». Она их застала, липкие, кустарные, ядовито-алого цвета, торговали ими бойкие бабы с отменно грязными руками и визгливыми голосами.

– Вот видите, – фрау Ульрика затянулась и чему-то усмехнулась, – ноктюрн до-диез.

Хромоножка тем временем поднялась. По-девчоночьи кривляясь, подошла к столу и молча протянула докторше рисунок. Уткнула подбородок в грудь и уставилась на нее исподлобья, ковыряя носком сандалии ковер.

– О-о! – восторженно пропела фрау Ульрика. – Да это же Каха!

Девочка хмуро кивнула.

– Похож, шмутциг швайн... а это – сэр Вильям, да?

Хромоножка чуть улыбнулась и снова кивнула.

– Так! А этот, ушастый, – Озолс, точно? Так... это я думаю, Рубенис, да?

Девочка, вытянув шею, заглянула в листок и буркнула:

– Дубицкас...

– А-а... Да, да, верно, лысый и ноги колесом... А это кто?

Девочка, не глядя, хмуро кивнула в сторону Филимоновой.

Фрау Ульрика, довольная качая головой, опустила ладонь на макушку художницы, ласково провела по жидким, стянутым в две тощих косицы волосам. Протянула рисунок Филимоновой.

Филимонова сразу узнала себя по накрученным оранжевым каракулям вокруг головы. Пятнистый Каха напоминал леопарда, у кого-то были гигантские уши, Озолс, кажется, – в целом это был вполне стандартный детский рисунок, увы, без особых признаков божьего дара.

Узнала она и фрау доктора по дуле на голове и по паровозной трубе сигареты, отчего-то врачиха-пигалица оказалась раза в два выше всех остальных. Себя хромоножка поместила рядом с фрау.

Необычным в рисунке было то, что все персонажи, за исключением фрау Ульрики и самой художницы, были обезглавлены. Вернее, головы были, но персонажи держали их в руках, как капустные кочаны. Из жутких ран хлестали во все стороны фонтаны малиновой крови. Хромоножка так усердно трудилась красным карандашом, что бумага кое-где была порвана насквозь.

23

– Нас утро-о встречает пра-ахладой, вай-вай, нас ветром, па-анимаешь, встречает река-а... – переливчато мурлыкал Каха, шаркая и теряя тапки, он пролез в дверь филимоновской каюты. – Кудрявая, что ж ты не рада, а? Я тебе завтрак, вай-вай, прине-ес.

Зацепился подносом и чуть не грохнул все на пол. Филимонова только проснулась. Зевая, потягивалась, свесив ноги с койки. Каха, торжественно сопя, водрузил поднос на тумбочку. Уставился на Филимонову.

Она взглянула на поднос. На завтрак была серая размазня в миске и что-то желтоватое в кружке.

– Овсянка, миледи. И кофе, – доложил кавказец, страшно довольный собой.

Каша по вкусу напоминала клейстер, в кофе превалировали рыбные ноты и запах ряски, но все равно Филимоновой казалось, что ничего вкуснее она не ела никогда в жизни.

Каха склонил голову набок и, уютно сложив ладони на брюхе, умильно сопел.

– А скажите, Каха... – прихлебывая рыбный кофе, начала Филимонова и запнулась – у нее была дюжина вопросов, она не знала, с чего начать. И неожиданно для себя самой она спросила:

– А вы – грузин?

Заботливый медбрат мигом превратился в гордого джигита с орлиным взором. Во взоре этом тут же вздыбились горные утесы, над ними в синеве уже парили беркуты, в туманных ущельях клубился угрюмый туман, чуть дальше ревели водопады, а сквозь их шум резво доносились лезгинка, долетали обрывки тостов, звон кинжалов, украшенных серебром, а если принюхаться, то можно было даже уловить нежный аромат жарящегося на углях барашка и, кажется, кинзы.

– Чантурия – древнейший род в Джавахетии! – воскликнул Каха, акцент выпятился, а толстый палец, описав вензель, уперся в потолок. – От Мингечаури до Риони любого спроси, любая собака знает Чантурия, ну! При Ираклии Втором сражались с персами, Крцаньская битва, знаешь? А Илья Чавчавадзе в Цицамури, помнишь?

Каха пучил глаза и наливался помидорным лоском. Тут в приоткрытую дверь просунулась бледная мордочка хромоножки Велты, она бесшумно проскользнула, тихо доковыляв, притаилась за его спиной. Скрестив руки на груди, скорчила рожицу, хитро шурясь и кивая.

– Ага! Попался, боржом-цинандали-гамарджоба... – угрожающе проговорила хромоножка, надвигаясь тощим тельцем на кавказца, – опять бахвалишься, жирный швайн?

Каха замолк на полуслове, поник, словно сдувшись, уменьшился вдвое.

– Велточка, деточка, – подобострастным фальцетом пропел он и, пыхтя, склонился к девочке, – зачем швайн, я ведь только...

Она оттолкнула его лицо ладошкой, брезгливо скривилась:

– Фу-у, вонючий! Тебе фрау Ульрика сказала помыться? Ах ты, жирный-жирный, как поезд пассажирный! Проваливай, пока цел. Ну!

И она гулко топнула маленькой сандалеткой по железному полу. Кривляясь, затараторила вслед толстяку:

– Жирная бочка, родила сыночка, а сыночек без ушей, хоть завязочки пришей!

Филимонова, сидя на койке, с интересом разглядывала свои ногти. Девочка медленно прошла взад и вперед. Остановилась перед ней, уперев кулачки в тощие бока.

– Так и будешь сидеть тут? – спросила мрачно. – Пошли ко мне. Коллекцию смотреть будем.

Железный пол охлаждал пятки. Филимонова, теряя шепелявые больничные тапки и прихватив в горсть халат, кособоко шаркала за хромоножкой по темному коридору. Потолок с пустыми сетками для ламп, клепаные двери, все сплошь было выкрашено в тот же мышинный цвет.

Девочка неожиданно остановилась. Повернувшись, спросила:

– А жирный швайн сказал тебе, за что его вчера ругала фрау Ульрика?

Филимонова ответила, что нет.

Девочка хмыкнула и заковыляла дальше, бросив через плечо:

– Брата моего утопил, жиргрест. Когда рыбу ловили.

Филимонова растерялась. Ей следовало выразить сочувствие, что-то сказать на худой конец. Но тон хромоножки, безразличный, даже с нотой гадливости, сбил Филимонову с толку. Она, сокрушенно всплеснув руками, покачала головой. Девочка шагала не оборачиваясь, поэтому мимическая часть соболезнований пропала даром.

Каюта оказалась большой и светлой. Не то что филимоновская кладовка.

– Это вот пятка с трофической язвой, смотри какая отличненькая! – Девочка тянула побледневшую Филимонову к полке с янтарными банками. В них неясно белели, искаженные стеклом и мутноватым раствором, анатомические препараты.

«Меня сейчас вырвет», – спокойно подумала Филимонова, глядя мимо банки с больной пяткой и упираясь взглядом в заспиртованную печень.

– А вот, смотри, вросший ноготь! Прима, да! Тут вот язык...

Филимонова, уткнув подбородок в грудь, кивнула. Завтрак подступал к горлу... нет, нет, не думать, не смотреть, вот ведь мерзость... точно, сейчас вырвет... Филимонова сглотнула. Во рту пересохло, она хмыкала, кивала, стараясь не дышать, ей чудилось, что от всей этой мерзости разит мертвечиной. И что именно сейчас ее и вырвет.

– Ну это зародыш, это не интересно. Вот – гляди! Вот это вещь! Супер, да? Я тоже буду врачом, когда вырасту. Как фрау Ульрика.

Снаружи кто-то заорал, крик перешел в визг. Потом истошно зазвенел корабельный колокол. Сверху послышался топот, гулко грохнула дверь, где-то рядом взревел Каха, зычно матерясь.

– Погнали наверх! Дай мне руку. – Хромоножка цепко ухватила филимоновскую руку. – Ну, давай, шевелись! Как неживая!

Коготки больно впились в ладонь. Они выскочили в коридор, добежали до поворота и, вскарабкавшись по крутой лестнице, очутились под открытым небом.

Солнце ослепило, Филимонова зажмурилась. «Какой же свежий воздух», – подумала она, жадно вдыхая ртом, чувствуя, как плывет голова, палуба, небо. Ноги обмякли, ей захотелось сесть, лечь, заснуть, умереть, но маленькая чертовка, больно царапая ее ладонь, тянула Филимонову дальше. Они обогнули рубку, здесь Филимонова наконец потеряла тапки. «Ну и черт с ними», – беспечно подумала она, звонко зашлепав по палубе.

Палуба оказалась большой, огромной. Судно, очевидно, было паромом, Филимонова на таком плавала прошлым летом в Клайпеду.

Кавардак был в полном разгаре. Среди грузовиков, контейнеров, легковушек метались люди. Они галдели, орали, кто-то тьякал по-собачьи. Кто-то дурным голосом пел. Над этим гвалтом гремел могучий рык старшего санитаря Кахи Чантурия. На капитанской рубке, сложив на груди руки, стояла флегматичная Ульрика Вагнер. Жаркий полуденный луч золотил ее тугие соломенные волосы.

Некто, тощий и наголо бритый, вертляво подскочив к Филимоновой, дьявольски расхохотался ей в лицо.

– Что за дурдом? – отпрянув, испуганно спросила она хромоножку.

– Психи. Рыбу ловят.

На рыбную ловлю это походило весьма отдаленно.

Филимонова заметила старичка с лицом мудрого дервиша из персидской сказки, тоже в линялой робе больнично-тюремного фасона (впрочем, такой же халат был и на ней самой), который не бегал, не орал, не размахивал руками, а пристально глядел на нее. На голове у старичка тюрбаном было накручено грязное полотенце. Он покорно сидел на корточках, вжавшись спиной в цистерну рыжего цвета с набитым по трафарету словом «Огнеопасно». Поймав филимоновский взгляд, он поправил тюрбан, кивнул и незаметно приложил указательный палец к губам, делая вид, что оглаживает седую бородачку.

– А это кто? – Филимонова кивнула в сторону дервиша.

– Где? А, этот... Штраус, музыкант чокнутый, воображает себя колдуном из Магриба. Айда на мостик к фрау Ульрике!

Они очутились на верхней площадке, у Филимоновой сразу закружилась голова от высоты, от бесконечной водной пустыни, лежащей вокруг. Стараясь справиться со слабостью, она ухватила рукой за нагретый поручень и медленно обвела глазами горизонт. Там не было ровным счетом ничего. Лишь вода.

– Акула, – не поворачиваясь, бросила через плечо фрау Ульрика.

Хромоножка, просунув голову между прутьев, пронзительно завопила:

– Чантурия акулу поймал, акулу поймал! Чантурия акулу поймал!

«Что здесь творится? Куда я попала? – Филимонова наклонилась, пытаясь разобраться, что происходит внизу. – Какая, к черту, акула! Вода ведь пресная».

Столпотворение происходило у левого борта. Она увидела, как к толпе вдоль бортового ограждения, вдоль пустых шлюпочных кранов мчится разъяренный Чантурия, полуголый, в пестрых шароварах, гулко топоча босыми пятками и размахивая пожарным топором. Кавказец зычно взревел, и толпа, отпрянув, испуганно расступилась. Тут Филимонова увидела трехметровую рыбину. Серая, со стальным отливом, она плясала по палубе, шлепая свинцовым хвостом. Рыба действительно походила на акулу.

Чантурия подскочил к ней. Присев на полусогнутых ногах и растопырившись как краб, он ловко взмахнул топором, черное топорщице на красном древке на миг замерло над головой и тут же с громким хряком вонзилось в рыбу. Толпа охнула и подалась ближе. Кавказец заорал: «Назад!» – и, проворно взмахнув топором, хряснул снова. И снова.

Рыба забила в агонии. Третий удар отсек голову, но туловище продолжало скакать, брызгая кровью, Чантурия, поскользнувшись на красном, чуть не грохнулся, но удержался и, отбросив топор, подхватил обезглавленную тушу поперек. Рыба судорожно дергалась и извивалась, из раны хлестала ярко-алая кровь. Держа тушу, Чантурия издал звериный вопль. Толпа ликующе подхватила.

– Ну вот... Спасибо, хоть никого не утопил на этот раз... Животное, – снисходительно улыбнулась фрау Ульрика. – Милости прошу на акулий суп, Анна Кирилловна.

Оглядев Филимонову, добавила:

– М-да... Велта, приодень нашу гостью. Ужинаем сегодня при свечах!

24

– Раскардаш страшный! Вот тут большие размеры, – бодро крикнула Велта, – а обувь в углу. Но там вообще черт ногу сломит.

В каюте действительно царил бардак. В нос шибануло нафталином и подмокшей шерстью. Помещение напоминало нечто среднее между складом универмага и кладовкой театра. Одежда валялась на полу, гроздьями свисала с крюков, болталась длинными рядами на стоячих вешалках. Среди невзрачной скуки драпа, крепдешина и унылого твида топорщились неожиданным золотом эполеты и аксельбанты, мерцали батистовые галуны, томно вздыхал страусиный плюмаж.

– Ну и ну... – прошептала Филимонова, – Париж, бомонд... Весенне-летняя коллекция две тысячи последнего года.

– Выбирай, не робей, – крикнула хромоножка, нахлобучивая бирюзовую треуголку с павлиньим пером, – зеркало только вот тютешное, не видно ни фига.

Филимонова пошла вдоль рядов. «Выбирай, не робей», – шептала она, трогая ладонью шершавые рукава пальто, жакетов, пиджаков. «Что это такое, – растерянно думала Филимонова. – Акула, Ульрика, грузин этот... Девочка с заспиртованной пяткой... Не робей...»

Филимонова плелась, постепенно дуря от нафталина и запаха пыли. Поймала за рукав какой-то гусарский ментик, вытянула наружу. Лихие галуны и аксельбанты играли золотом на малиновом сукне.

– Ну посудите сами, – обратилась она к ментик, – кисти, позументы, мишура – ведь этого просто не может быть!

Она бросила мундир на пол и пнула ногой.

– Реквизит театра! Из Паневежиса, имени Чюрлениса театр, – откуда-то донесся голос хромоножки, – наверху еще один контейнер.

– Еще один контейнер у них... – пробормотала Филимонова, – наверху, понимаешь.

По палубе бесцеремонно прогуливались чайки. Нагло просовывая любопытные головы за брезент, тюкали глупыми клювами по радужным мыльным пузырям. Филимонова громко фыркала и, блаженно улыбаясь, подставляла голову под хилые струйки тепловатой воды, ожидая, что вода в баке вот-вот закончится, вопреки заверениям хромоножки. Пена скользила по ладным, загорелым ногам, от воды они были совсем темные, словно лакированные. Не так уж плохо для пятидесяти лет, довольно хмыкнула Филимонова и помахала Кахе, который, посту-

кивая молотком, что-то чинил на капитанском мостике с самого начала ее купания. Кавказец уронил молоток на палубу и моментально испарился.

– Это ж какое блаженство! Даже с нафталином... Просто не верится – чистое, – довольно ворчала Филимонова, застегивая бронзовые пуговицы парадного доломана драгуна некой сказочной армии. С атласным подбоем, отороченный шнуром с тройной петлей, на рукаве – скрещенные сабли, в петлицах золотые подковки. Одернула полы, коротким щелчком сбила пушинку с эполета: – Ну-с-с, га-аспада офицеры!

Из-за обшлага торчал белый уголок. Филимонова подцепив ногтем, выудила сложенный листок, развернула. Полусмытый розовый карандаш. Квадратные буквы сложились в слова «папа я тебя люблю», обе «я» были зеркально перевернуты. Филимонова провела пальцем по буквам, сложила записку, осторожно убрала ее на место. Господи, что же с нами приключилось? Она закрыла глаза и прислонилась к контейнеру. Откуда-то пахло дегтем и еще чем-то горелым.

– Акулий супчик, – сипло пробормотала она, в горле застрял шершавый, горький ком.

25

– ...И тогда посмотрел старый аксакал на молодых джигитов, задумался и... умер. Так выпьем же этот бокал за ошибки нашей молодости!

Каха Чантурия влил в себя жидкость, по-лошадиному мотнул головой и крикнул:

– А смерть придет, помирать будем!

По случаю торжественного ужина он напялил батистовую размахайку макового цвета и был одновременно похож и на цыгана, и на его медведя.

Острый профиль фрау Ульрики со стальным зачесом и тугой дулей на затылке благо-склонно кивнул. Улыбка тронула губы. На Ульрике был черный сюртук мужского покроя и строгое жабо, она напоминала английского жокея.

Вино оказалось забористым и сразушибануло в голову. Филимонова безуспешно закрывала ладонью стакан, но Каха изловчился и снова налил до краев.

– Ведь что удивительно, фрау Вагнер, – грузин ловко откупоривал новую бутылку, – что сеть выдержала. Не порвалась, понимаете, да?

– Яп-п-понский кап-прон, – заикаясь, мрачно пробурчал диковатого вида латыш в тертой моряцкой тужурке, судя по всему, не из костюмерной. Лицо у него было кирпичного цвета (и похоже, той же фактуры – Филимоновой хотелось в этом удостовериться, потрогав пальцем терракотовые трещины морщин). Седая щетина и белесые латгальские глаза, коричневые клешни с синей татуировкой и изуродованным большим пальцем. Вылитый пират – Филимонова, подвыпив, тайком даже заглянула под стол, в надежде увидеть там деревянный костыль, притороченный к культе. Увы, обе ноги морского волка оказались на месте и были легкомысленно обуты в китайские полукеды.

Хромоножка надменно поглядывала по сторонам, она вырядилась веронской сеньоритой. Платье было великовато, и Филимонова заколола лишнюю материю булавками. Она же, распустив худосочные косы, накрутила девчонке фигу «как у фрау Ульрики», воткнув в пучок пару пластиковых незабудок.

Подали суп, здоровенный котел прикатил на сервировочной тележке красномордый повар. Каха, отодвинув его, сам принялся разливать суп по тарелкам, ловко орудуя гигантским половником. Повар виновато выглядывал из-за спины Кахи, поправляя колпак и часто моргая. Что-то мямлил про отсутствие мускатного ореха и базилика. Фрау Ульрика жестом велела повару присоединиться, кивнув на дальний край стола.

Акуля уха удалась на славу, выпили за повара.

Каха тут же налил снова, поднялся и начал бесконечную кавказскую бодягу.

Филимонова наклонилась к фрау Ульрике и тихо спросила:

– Откуда здесь акулы?

Ульрика удивленно взглянула на нее. Не ответив, повернулась к хромоножке и что-то сказала по-немецки. Велта коротко кивнула и, резво заковыляв, вышла из кают-компания.

– Где мы вообще находимся? У вас же есть приборы, карты. Рация... Надо связаться с людьми. Я слышала про американскую плавбазу... – Филимонова продолжала говорить вполголоса, но при этом страстным жестом обрубала фразы, ударяя ребром ладони по столу. – Вы посылали сигналы бедствия?

Фрау Ульрика внимательно слушала. Улыбнулась, чуть насмешливо подняла брови.

– ...но гордый орел взвился над седой Курой, выше горных вершин, выше облаков даже, понимаешь, взвился... посмотрел оттуда вниз и сказал... – басил кавказец.

– Сигнал «sos» вы подавали? – повторила, наливаясь злобой, Филимонова.

– Не так все просто, – грустно усмехнулась Ульрика, – вы даже не догадываетесь...

От нее пахло лавандой. Филимонова замолчала, сжав губы, откинулась, венский стул громко скрипнул. Она одним махом осушила стакан красной кислятины и, выудив здоровенный огурец из банки, стряхнула рассол на пол. Голова кружилась, Филимонова с хрустом откусила пол-огурца, отвернулась от Ульрики и зло принялась жевать.

Каха и подвыпивший повар, без колпака он оказался лыс, как коленка, уже терзали рояль на полукруглой эстраде в углу. Морской волк, потемнев лицом, стеклянным взглядом пялился в стену. Он задумчиво разгибал мельхиоровые зубы салатной вилки.

Фрау Ульрика, вытягивая губы (казалось, что она вот-вот выдаст соловьиную трель), беззвучно хлебала суп, отламывая коготками ломтики галеты, аккуратно поедала их.

Филимонова расстегнула воротник доломана, ей стало жарко от вина, горячего супа, от злости. Отвернувшись, она делала вид, что разглядывает на стене гравюры фрегатов и каравелл. Она узнала «Золотую лань» Френсиса Дрейка.

«Вот ведь сука!» – Филимонова ощутила почти неодолимое желание что-нибудь расколотить, – и желательно об эту немецкую башку. Влепить. Прямо по дуле. Бутылью...

В висках стучало, она сцепила руки под столом, стараясь успокоиться. Что я ей – девочка? Пусть так со своими холуями разговаривает, сука немецкая.

«Нет-нет, так нельзя, – она понимала, что только накручивает себя, – так нельзя, нужно осторожно. Сделаем вид, что нам все равно... как там говорят – будьте выше этого. Вот, будем выше этого. Мы выше этого, фрау доктор».

На эстраде уже происходило форменное безобразие. Вконец захмелевший повар, запутавшись в малиновом занавесе с кистями, изображал оперную диву, выводя фальцетом какие-то тоскливые мелодии, иногда падал со сцены, но каждый раз умудрялся вскарабкаться обратно. Каха целовал его в лысую маковку, не прекращая при этом молотить по клавишам толстенными, как отборная морковь пальцами. Он хищно щурился в зал и выкрикивал: «Асса!»

– Вы фехтовать умеете? – вдруг спросила Ульрика, повернувшись. – Я холодное оружие подразумеваю – шпаги, рапиры... Эспадрон... Эй, вы что там, надулись? Вы что, Филимонова, обиделись? Ну вот...

Ульрика боком подалась к Филимоновой и, улыбнувшись, сказала:

– Это вы зря. Я-то думала, что мы подружимся. Я так хотела, чтоб мы подружились...

Она зябко повела плечами и продолжила:

– Ведь если мы не подружимся, мне придется отдать вас Чантурии, – она грустно кивнула в сторону сцены, – да, именно ему. А когда вы наскучите Чантурии, он определит вас в лечебное отделение, к пациентам. Да, к пациентам.

Она сочувственно улыбнулась и добавила:

– А уж то, что от вас останется после, как водится, пустим на котлеты, – фрау Ульрика с искренним сожалением покачала головой и, взглянув Филимоновой в глаза, тихо сказала: – На мой взгляд, ваш единственный шанс уцелеть – это не наскучить мне. Потому что, если вы наскучите мне, я отдам вас... Впрочем, я уже это говорила.

И она, печально кивая, закурила.

Филимонова уставилась на гравюру «Санта-Мария», два других судна экспедиции Колумба были представлены в той же раме, по бокам, «Нинья» – справа, «Пинта» – слева. Или наоборот, Филимонова не была уверена. Она медленно повернулась, вплотную подалась к Ульрике.

– Что вы несете? – тихо, с набухающей угрозой, спросила она. – Какие, к чертовой матери, котлеты?

Фрау Ульрика вскинула брови. Потом расхохоталась, закашлялась. Отпила воды и, часто моргая покрасневшими глазами, сиплым голосом сказала:

– Да шучу я. Котлеты! У нас и мясорубки на кухне нет.

Распахнулась дверь, появилась хромоножка, бойко таща за собой давешнего старика в тюрбане.

– Ну наконец! Мы тут чуть не заснули с Анной Кирилловной! – провозгласила фрау Ульрика, подмигнув Филимоновой. Та старательно складывала бумажную салфетку веером, утюжа каждый сгиб ногтем.

Старик, путаясь в больничных шароварах, забрался на эстраду, Каха и повар тут уже ретировались обратно за стол. Хромоножка, придвинувшись, зашептала что-то Ульрике на ухо. Старик, прихватив кулаком пижамный рукав, начал стирать с клавиш красный соус. Рояль заблямкал, повар захихикал тонким голосом, но тут же осекся.

Старик сел и замер, задумчиво уставился на клавиши, словно что-то читая там. Из-за тюрбана он был похож на перезрелый гриб-дождевик или как у бабы Христи в деревне их называли – «дедушкин табак», те, что пыхали бурой пылью, если по ним топнуть.

Старик осторожно опустил руки и заиграл.

С первым же аккордом произошла какая-то трансформация: Филимоновой показалось, что она соскальзывает в некую вневременную щель. В небытие. Туда же нежно сползла Ульрика со своей баржей. Незаметно исчезла в ней бескрайняя вода, исчез и неистребимый запах тины, пропала злоба и злая растерянность, от которой становишься лишь злее и злее.

Она плыла. Она закрыла глаза и подумала, что вот таким и должен быть рай, и если бы она, Филимонова, была Богом, то непременно сотворила бы что-нибудь подобное. Причем для всех. Да, и для грешников, они-то как раз и мучаются при жизни больше других, а Бог должен быть добрым, как мать, и прощать, и снова прощать, и тысячу раз еще. Да и кто сказал, что Бог – не женщина, не мать, вот ведь какая нелепость, кто ж еще, если не мать? Ведь самое что ни на есть бабское дело – рожать, заботиться, оберегать... Разве нет?

Филимонова жмурилась и улыбалась. Плыла и нежно трогала разноцветные звуки: те крались льняной волной и вдруг, обернувшись жидким золотом, рассыпались искрами, оставляя на безупречно гладком песке диковинные ракушки, морские звезды и кусочки матового

стекла – облизанные морем осколки тех бутылок, чьи адресаты так никогда и не получают своих писем.

Повис последний аккорд, растаял. Тишина, будто сделав вдох и замерев на мгновение, взорвалась овацией, даже остекленевший боцман застучал терракотовыми клешнями.

Старичок поправил тюрбан и тут же заиграл снова. И снова Филимонова блаженно унеслась неведомо куда. После звонкий голос распорядился: «Маэстро, вальс!»

И снова хлынули и покатались большие, гладкие волны. Невозможно было уже усидеть, хотелось делать плавные жесты, соря многоцветьем розовых лепестков, и кружиться перед невидимым зеркалом, смеясь и закидывая назад голову, рассыпаться юркими солнечными зайчиками. Каха подхватил повара, ноги того, не касаясь паркета, выписывали затейливые вензеля. Морской волк неожиданно ловко, с каким-то гусарским форсом, пригласил одинокий венский стул и, припав кирпичной скулой к лакированной тонкости изгиба, самозабвенно закружился, чуть слышно поскрипывая резиновыми подошвами полукед.

– Мадам! Тур вальса? – с прусской лихостью щелкнув каблуками, возникла фрау Ульрика. Тут же коротко, по-офицерски, кивнув, умело подхватила Филимонову, и они, словно угодив в смерч, закрутились и, набирая обороты уже против своей воли, вынеслись в центр зала. Мимо понеслись огни, словно кометы, оставляя пестрые хвосты. Гравюры на стенах сплелись в бесконечный флотский парад, кумачовая туша Кахи пролетала стремительным болидом, вспыхивала глазированной глиной там и сям счастливая рожа боцмана, унылой луной маячил вдали тюрбан пианиста.

Как проявляется фотоснимок, в памяти Филимоновой возникло совершенно забытое кино: черно-белые блики сквозь листву, упитанный маэстро с ефрейторскими усиками на козлах, пятнистые спины лошадей и лесные птицы, высвистывающие этот вальс. Тут же, словно прочитав ее мысли, Ульрика просвистела несколько тактов. А со сцены ей откликнулась хромоножка, стоя у рояля, она ангельским сопрано повторила тот же мотив.

26

Филимонова проснулась от нестерпимой жажды. Во рту застряло что-то шершавое, оказалось – язык. В памяти вспыхивали какие-то отрывочные картины, они прояснились вместе с приливами головной боли. В дальнем углу мозга продолжал греметь рояль. Нещадно топали кованым сапогом и вопили «асса». Осколки воспоминаний складывались в мозаику, некоторые фрагменты реставрации не подлежали и были утрачены, к счастью, навсегда, но даже неполная картина бросила Филимонову в жар. Она, застонав, замотала головой. Делать этого не следовало – лоб покрылся испариной, ее чуть не вырвало.

Она тихонько заскулила, пытаясь выпихнуть из памяти голубую жилку на виске Ульрики, когда та, не сбиваясь с такта вальса, стала целовать Филимонову в шею. Кто-то колотил посуду о стену. Кто-то громко икал. По бритой башке повара текла кровь, он ее размазывал по лицу и орал латышскую песню. Омерзительно воняло паленой курицей. Хромоножка гасила спички, втыкая их в грудь Кахи. Каха рычал и требовал: «А ну еще давай!» Потом был хоровод, хруст осколков, клочья ваты или обивки, кого-то вырвало прямо на паркет. Старик музыкант делал круглые глаза и что-то шептал ей в ухо. От него нежно пахло лавандой. Лавандой? Нет, лавандой пахло от...

«Я умру сейчас от жажды», – равнодушно подумала Филимонова и села, опустив ноги в лунные квадраты на полу. Шершавый металл приятно охлаждал пятки. В гробовой тьме мало-помалу проступили знакомые контуры. В кружке осталось несколько глотков холодного чая. Вот видишь, подбодрила себя Филимонова, еще не все потеряно.

Запахнув халат, она проскользнула в коридор. Сквозь абсолютную черноту долго кралась по стенке, пару раз натыкаясь на острые углы. Наконец свернула. Впереди засветилась лунная лужа и ступеньки.

На палубе оказалось почти светло, Филимонова взялась за скользкий от росы поручень и обвела взглядом горизонт. Что-то там было не так. Она всматривалась и не могла понять причину своего беспокойства. Горизонт по-прежнему был абсолютно пуст.

И вдруг с наползающим ужасом, медленно, будто проваливаясь в трясины, она поняла, что изменилось: изменилась вода. Исчезло течение. Вместо тягучего, однообразного движения, нудного и унылого, по черной маслянистой равнине катили неторопливые волны.

Волны! Это была не речная или озерная мелочь, с суетливыми барашками, и не морская мускулистая волна, что бьет туго и с оттягом. Это походило на бескрайнюю долину с ожившими холмами, лениво перетекающими от горизонта к горизонту. Пыльная рябь загоралась на пологих боках, рассыпалась серебристой трелью, вспыхивала и, мерцая, гасла. Океан, господи, это же океан...

Филимонова не ощущала качки. Приглядевшись, она заметила, как черный угол рубки, неспешно привстав, клюнул луну, замер, а после сонно пополз вниз.

Как зверь дышит, подумала Филимонова и, вздрогнув, застыла от цепящего страха – низкий, утробный звук (не ухом, а скорее животом она ощутила его) проплыл над водой. Словно кто-то выдул из геликона одну тоскливую ноту.

Мозг будто свело, он испуганно скукожился в углу черепушки. По спине побежали ледяные лапки мурашек, тошнота подкатила и выступила липким потом.

«Как мало меняется страх – мне так же страшно, как в детстве. Тот же озноб, ватное безволие, даже заорать нет духу, – как тогда, на чердаке в деревне».

Филимонова брела по палубе, за контейнерами стояли машины. Скользя пальцами по мокрому лаку, медленно пошла вдоль легковушек, наугад дергая ручки дверей.

«Хотя нет, сейчас, пожалуй, появилась апатия. Леня... Да и не сейчас, давно появилась. Жить лень, бояться лень... Даже сдохнуть по-человечески и то лень. Или духу не хватает...»

Дверь последней машины в ряду, щелкнув, приоткрылась. Филимонова забралась в кресло, положив руки на баранку, посмотрела сквозь грязноватое стекло на луну. С зеркала свисал католический крест и гроздь картонных освежителей в виде елочки, но в салоне кисло воняло казармой, окурками и потом.

Филимонова дотянулась, откинула крышку бардачка. Брезгливо вытянула промасленную тряпку, какие-то захватанные книжки-инструкции, смятую пачку «Даугавы» с двумя плоскими сигаретами, отвертку с красной ручкой, армейскую стальную зажигалку. Откинув большим пальцем крышку, она чиркнула колесиком. Оранжевый огонек заплясал, чуть коптя. Вкусно пахло бензином.

Сталь приятно грела ладонь, хромированный брусочек зажигалки уютно лег в кулак. Филимонова хотела прихватить и отвертку, передумав, сунула ее вместе с остальным хламом обратно в бардачок.

Ткнув бедром, бесшумно защелкнула дверь. Стараясь не смотреть на хмурые волны, она прокралась к лестнице. Нашупывая пяткой ступени, стала осторожно спускаться. От холода ноги онемели. Уже хотела свернуть в свой коридор, как услышала звук, голос – снизу доносилось невнятное бормотание. Слов было не разобрать.

Держась рукой за стену, Филимонова стала спускаться. Лестница кончилась, стараясь привыкнуть к темноте, Филимонова затаилась, прислушиваясь. Говорил мужчина, говорил полатышски, со слезливыми интонациями, будто жалуясь. Местный язык она так толком и не выучила, удалось разобрать лишь слово «красный» и постоянно повторяющуюся фразу «да, я понял». Казалось, что он говорит по телефону.

Воздух на нижнем уровне был вязкий, спертый. К тухлятине примешивался еще какой-то знакомый запах. Из темноты наконец проступил коридор, зыбко обозначились двери. Заколыхался почти невидимый пол. Голос в темноте продолжал бубнить, жаловаться. Как по льду, робко нащупывая твердь, Филимонова сделала несколько шагов. Нашла ручку, повернула, толкнула дверь. Дверь подалась.

Переступив высокий порог, Филимонова прижалась к стене. Здесь было светлей, сизый свет втекал через крошечный иллюминатор под потолком. Помещение напоминало душевую, вдоль стены торчали гнутые трубы с лейками. В дальнем углу стояла ванна, там что-то маслянисто густело.

Филимонова чиркнула зажигалкой. Рыжее пламя осветило кафель стен с черными разводами. Ванна была наполнена до краев желтоватой мутью, из которой остро торчали белые колени. Филимонова вздрогнула, огонь погас.

«Это формальдегидом воняет, – дошло до нее, – так же воняло у хромоножки».

Она выбралась в коридор, латыш-зануда продолжал бубнить. Вдруг кто-то слабо вскрикнул, сонно что-то забормотав. Шаг за шагом продвигаясь дальше, она вдруг натолкнулась на решетку, перегораживающую коридор поперек. Нашупала висячий замок. Дальше, за решеткой, на полу темнели какие-то груды.

Бубнеж вдруг замер, послышалась тихая возня. Филимонова пыталась разглядеть хоть что-то в темноте. Привстав с пола, сгустилась чья-то тень. Тихо шлепая босыми пятками, приблизилась к решетке.

Руки тряслись, Филимонова неловко высекла огонь. Это был старик пианист. «Шуберт? Шуман? Как его хромоножка называла? Шопен?» – Филимонова не успела вспомнить, а музыкант тут же задул огонь. Тьма воцарилась крошечная, перед глазами поплыли белые круги.

– Тихо, тихо, – прошептал старик, – не разбудите...

Филимонова почувствовала, как он прикоснулся к ее пальцам, и отдернула руку.

– Гинзбург я, врач... Не бойтесь. Я в своем уме... Релятивно рассуждая.

27

Фрау Ульрика выпрямилась. Откинувшись в кресле, уставилась в стену. Выдержав паузу и чуть улыбаясь верхней губой, повторила торжественным шепотом:

– Да. Вода всех расставила по своим местам...

Филимонова слушала. Молча, стала ковырять отслоившийся лак на подлокотнике кресла. «Хороший антикварный дуб, – подумала она, – вот только обивка дрянь, явно перетягивали».

– Странно... – начала Ульрика с предыханием, – у меня никогда не было необходимости говорить по душам. Но с приходом воды (она произнесла это слово торжественно, предварив паузой) у меня все чаще возникает аппетит к этому, хочется э-э... исповедаться, если хотите. Именно исповедаться. Да, да, и не улыбайтесь, пожалуйста.

Филимонова и не думала улыбаться. Она совершенно не выпалась, похмелье было тяжким, да и годы уже не те. Ей хотелось умереть, но быстро и без мучений. По крайней мере, без таких вот иезуитских пыток.

– Вот скажите мне откровенно, как на духу, – не унималась Ульрика, – честно скажите, положив руку на сердце: вы верите в судьбоносные предначертания?

И она снова выпрямилась, скрестив свои розовые пальцы на колене. Не дожидаясь ответа, продолжила:

– Ведь оставшиеся в живых спаслись не случайно. С этим спорить глупо. Ведь так?

Филимонова спорить не собиралась.

– Человек – это функция. Не больше, но и не меньше. Рассматривать человека как носителя какой-то собственной воли, как хозяина своей судьбы, а уж тем более говорить про его какую-то бессмертную душу – это безусловная паранойя. Заявляю как специалист. Поэтому необходимо осознать и принять свою миссию. Я, случайно, не оскорбляю ваших религиозных энтузиазмов?

Фрау Ульрика снисходительно усмехнулась, приподняв брови.

– Религия настолько примитивна, что любой эрудит даже при желании не в состоянии напялить на себя этот хомут. Да и стоит ли удивляться – все религии были придуманы для стада. А вовсе не для тонкой прослойки интеллигенции.

Довольная шуткой, Ульрика засмеялась. Филимонова вспомнила, как Ульрика целовала ее в шею, и ей стало совсем тошно. Она тихо застонала.

– Ну да и черт с ней, с религией! Цум тойфель! Я говорю не про стадо, я говорю про избранных. Про себя, про вас...

Филимонова непроизвольно фыркнула.

Фрау встрепенулась, по-птичьи наклонив голову.

– Вы, дорогуша, неверно трактуете слово «избранный». У меня там, – Ульрика топнула каблуком в ковер, стук вышел глухой, и она топнула еще раз, сильнее, – там у меня две дюжины больных. От балласта я избавилась. Но и те, что остались, между нами говоря, мусор. Так в чем их избранность? Или Каха? Животное. Почему уцелел он, а не Гинзбург? Или Луцис?

Филимонова, пожав плечами, кивнула. Виски тут же заломило. «Наверняка у этой стервы аспириин есть», – подумала она, неприязненно разглядывая узор на ковре. Узор сложился в ехидную рожу.

– А я вам скажу почему, – лукаво подмигнув, заявила Ульрика, – потому что мы все – функция! Даже я. Просто я – ключевая функция.

Ключевая функция по имени Ульрика Вагнер выдвинула ящик стола и принялась шумно там копать. Филимонова заметила, что у нее мелко трясутся руки, а на тонком клюве, прямо на горбинке, лопнул сосудик.

Жменью она высыпала на стол мелкий канцелярский хлам: скрепки, огрызки карандашей, школьную точилку, перстенок с синим камнем. Злясь, она запустила руку в глубь стола, наконец, нашарив то, что искала, достала коробку спичек.

– Вот вы, – закуривая и щуря глаз от дыма, спросила Ульрика, – кем вы были до воды?

Вопрос явно был риторическим, но Филимонова вдруг вспомнила, что, помимо всего прочего, отработала два сезона ассистенткой иллюзиониста Бертольди. Цирк был приписан к Харьковскому управлению культуры. Платили копейки, гастроли шли по пыльному захоласту, так что вспоминать особо было не о чем, кроме змеиного трико, тугого, как перчатка, и расшитого изумрудными стразами с грецкий орех. Луджи Бертольди, в миру Головятенко, чернявый коротышка с цыганскими глазами и гренадерскими усищами, терзаясь своим малым ростом, на арене появлялся на неммыслимых котурнах, Филимоновой разрешались лишь плоские тапки. Впрочем, когда тебя пият в ящике, сойдут и тапки.

– А я, – задумчиво произнесла Ульрика тихим голосом, – я до воды была бедной златовлаской Рапунцель и по моей косе взбиралась гессенская колдунья Зигда, та самая, что ослепила моего несчастного жениха, дармштадтского принца Людвига Сухорукого. Ведьма заточила меня в башню. На самой верхотуре было маленькое окошко, старая сволочь стояла внизу среди серых камней и пела:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,
Спусти свои косоньки вниз.

Я сплетала косу и по ней колдунья залезала наверх. Но однажды мне посчастливилось бежать. Я заявила в полицию, ведьму арестовали и сожгли на рыночной площади. Вот это был праздник, доложу я вам!

Ульрика оживилась, глаза заблестели:

– Ее везли через весь город в открытом экипаже, четверка гнедых с красными лентами в гривах, огромные черные колеса гремели по брусчатке. Собаки и дети бежали взапуски, мальчишки выбегали и бросали репейник ей в космы, а солдаты даже не отгоняли их. А пламя было до небес. Искры столбом уносились к звездам, огонь гудел, но я слышала, как лопалась кожа и трещали от жара ее кости.

Ульрика покраснелась, она часто дышала, возбужденно сжимая маленькие кулаки.

– После я отрезала косы и с тех пор ношу короткую прическу. Вот. По просьбе добрейшего принца магистрат выдал мне новое удостоверение личности на имя Ульрики Вагнер. О том, что я когда-то была златовлаской Рапунцель, знают лишь единицы.

Золотая паутина, солнечные пряди завиваются в бесконечную косу, толстую и тяжелую, как корабельный канат. Филимонова представила ее птичье личико и бледную шею. Тощую грудь, взбитую баварским корсетом с причудливым шитьем, ну да, Рапунцель, а как же. Ласточки чиркают небо в крошечном окошке. Усачи-гренадеры в высоких сапогах с пряжками, эшафот, украшенный крепом, ведьма с воем взлетает пылающим фейерверком ввысь, во тьму. Филимонова зажмурилась, трянула головой, пытаясь избавиться от видений.

А Ульрика все говорила.

Филимонова давно перестала ее слушать, изредка безучастно кивая и лишь замечая, что лицо Ульрики становится бледней и бесцветней, а взгляд все стеклянней. Пальцы ее сжимали раздавленный коробок, спички одна за другой падали на ковер.

Потом она сморщилась и стала похожа на внезапно состарившуюся девочку, такие лица бывают у цирковых карлиц. Она некрасиво скривила рот и уткнулась в Филимонову. Тихо заскулила, вздрагивая острой спиной.

Запахло лавандой. Филимонова не знала куда девать руки, уставившись на стол. Там среди мелкого хлама, скрепок и карандашей блеснул затейливый перстенок с черным агатовым камнем, в который был впаян золотой паук-крестовик.

28

Филимонова беззвучно спустилась по лестнице, свернула за угол. Полная темень. Остановилась, ничего не видя перед собой. В нос ударил смрад, воняло помойкой и формальдегидом. Она на ощупь дошла до решетки. Позвала. Голос у самых ног прошептал:

– Да тише вы! Перебудите всех...

В темноте кто-то застонал. Филимонова присела на корточки. Прислонясь к решетке, закрыла нос и рот ладонью. Неужели к такой вони можно привыкнуть? Доктор придвинулся, она услышала его дыхание. Сбивчивым шепотом стала задавать вопросы.

– Фрау Вагнер? – доктор Гинзбург хмыкнул. – Конюхова Наталья Владимировна, сорока трех лет, доцент кафедры романо-германских языков Рижского университета. А последние два года пациент городской психбольницы номер три. С диагнозом параноидная шизофрения, приступообразный тип, синдром Клерамбо.

Потом доктор Гинзбург рассказал про эвакуацию больницы. Говорил он тихо, бесстрастно, даже со скукой. Говорил про то, как кончился аминазин, как буйные в надзорке забили насмерть доктора Луциса.

– А Чантурия, да, геодезист, биополярное расстройство. Стихи трогательные про природу пишет... писал, верней. Луна, что-то там... моя сестра, подруга, соседской зависти бельмо... вполне сносно, между прочим. А декламировал как! Качалов... Дай, Джим, на счастье лапу мне... Вот так-то, мамочка моя.

Филимонова услышала, как доктор поскреб щетину.

– У Велты эндогенное заболевание, у нее умерла сестра-близняшка, она стала слышать ее голос: «Иди сюда в Царство Мертвых. Здесь хорошо!» А хромота – это полиомиелит, это по другому департаменту. У Велты частые приступы амбивалентности, иногда ступор, я прежде прописывал нейролептики... Теперь они сами мне прописывают чего душе угодно... – Гинзбург тихо засмеялся: – Во лбу светел месяц, в затылке часты звезды, короче. Спасибо генератор полетел, а то ведь электрошоком лечили. Каха переусердствовал... Спалил генератор, джигит...

Доктор снова хмыкнул, а Филимонова, прислушиваясь к сонному ворчанию за его спиной, тоскливому, сиротскому храпу, пыталась хоть как-то привести в порядок мысли. «То, что они чокнутые, и так понятно было. Теперь это официальный диагноз, который мало что меняет по существу», – подумала Филимонова и тихо спросила:

– А Ульрика? Что случилось с ней?

– Вы помните про Вентспилсского Лакомку? – прошептал Гинзбург и сипло закашлялся. Кто-то простонав, забормотал за его спиной, после затих.

Да, она помнила. Серийный убийца, трупы жертв обмазаны медом, женщины от двадцати до сорока, все убийства в регионе Курземе, по побережью.

– Ульрика, вернее, Конюхова, единственная, кому удалось выжить. Полиция рыскала по пасекам, а маньяк оказался смотрителем маяка. На Вентспилсской стрелке. Приглашал дам полюбоваться незабываемым видом Балтийского моря с высоты...

– А мед?

– Мед... – доктор запнулся, – хороший вопрос... Полиция тоже с этого края заходила. Вот вы думаете, раз псих, то значит дурак, идиот? Мыслит примитивно и уж точно дурнее меня, ведь так?

Филимонова кивнула, хотя не думала ничего, сообразив, что в темноте не видно, прошептала:

– Ну?

– Вы себе не представляете, насколько изощренной может быть фантазия больного. Кадушку с медом случайно прибило морем к его маяку. Убийца совершенно сознательно сбивал следствие с толку, обмазывая трупы медом, а после на портовом пикапе развозя по округе. Анализ меда указывал на один и тот же источник. Полиция сбилась с ног, перетряхнула все пасеки вдоль побережья, всех оптовых покупателей. Даже в Литве. Мед казался следствию главной ниточкой. Ключом. И если бы Конюхова чудом не выжила, думаю, маньяка бы искали до сих пор. По меду.

– А как... – Филимонова запнулась, подбирая слово.

– Он ее бросил в дюнах. Наутро рыбаки нашли ее, думали мертвая. Живот вспорот... – доктор что-то пробормотал, прочищая горло, – ну а после уже ко мне попала. По локоть в красном золоте, по колено в серебре, одним словом.

Филимонова шмыгнула носом, не зная что сказать. Ладонью стерла слезы.

– Только вот нюни, мамочка моя, распускать не следует. Эта Ульрика прихлопнет вас не моргнув глазом. Как муху, извините великодушно за прямоту. Она больна, у нее полностью отсутствует представление о человеческой морали. Она убивает не со зла, не от кровожадности или жестокости, нет. Для Ульрики убить человека так же необременительно, как для вас

раздавить комара. Тут прибился солдат один... – доктор замаялся, побряхтел, передумав, добавил: – Ну, это ладно, не стоит, мамочка, пугать вас без толку.

Филимонова ощутила мерзкий холодок промеж лопаток, сипло спросила:

– Ну и что теперь делать?

Доктор вздохнул, по-стариковски пришепetyвая на выдохе:

– Да уж... что делать... что делать...

В темноте кто-то заворчал. У Филимоновой затекли ноги, она села на пол, осторожно вытянула их.

Доктор нашел в темноте ее руку, сжал. Подался к ней, быстро зашептал:

– Я вам как врач скажу. Я – атеист, мне всякие сказки про гнев господень не любопытны. Чушь собачья. Да! А вот что не чушь, так это биология. Наука такая. Каждый организм проходит определенные стадии: рождение, взросление, зрелость, старение и смерть. Мотылек проскакивает цикл за день, секвойя живет тыщу лет. Любо́й организм, лишь родившись, в сей же самый момент уже обречен на смерть. Это лишь вопрос времени и не более того, вникаете?

Филимонова угукнула, не совсем понимая, куда он клонит.

– Когда покойник начинает гнить, его пора закапывать. Или сжигать. Или... – старик поперхнулся, заперхал в кулак, – ну вы понимаете... Человечество себя изжило. Мы родились, поползали на карачках, научились ходить. Достигнув половой зрелости, накуролесили от души, расквасив себе физиономию в нескончаемых войнах, грабежах и убийствах. Утомились. Угомонившись, отрастили брюшко, изобрели все, что могли, лишь бы не поднимать задницу с дивана. Разумеется, обрюзгли, облысели, окончательно обнаглев, решили, что на наш век должно хватить. Ведь всегда же хватало, так? Все, что смогли, вырубали, выловили, осушили, отравили, заасфальтировали. Заявили: «А после нас хоть потоп. Вот, собственно, и он. Ну? Извольте любить и жаловать!»

Доктор, громко дыша, говорил злой скороговоркой. Филимонова незаметно вытянула ладонь из его потной руки. Бесшумно отодвинулась.

– А наш паром, – внезапно спокойным голосом произнес доктор, – в определенной мере модель вселенной, копия того мира, что исчез. «Корабль дураков» безумного Иеронима Босха помните? Там где монах с монашкой пытаются откусить от подвешенного на бечевке блина, монашка играет на лютне, а лютня, между прочим, символизирует вагину. А игра на лютне, соответственно, символизирует разврат. За капитана там шут, матросами пьяные крестьяне. Босх уже тогда понял, что корабль наш без руля, так сказать, и без ветрил на всех парусах несется в ад. Как и наша калоша. Мы обречены на гибель. И никакой Бог тут... – он закашлялся, – короче, это – биология. Наука, – он усмехнулся. – Поэтому, если хотите уцелеть – бегите.

– Как? Куда? – растерянно спросила Филимонова.

Доктор помолчал. После тихо сказал:

– Зажигалка у вас знатная! Не одолжите?

29

«Даже если он прав, – подумала Филимонова, – у меня нет сил. И желания».

Она сидела на койке, свесив тяжелые кисти рук в мутный лунный свет. Опустив голову, разглядывала синие вспухшие вены. Угробили себя? Так долго старались, и на тебе...

Ей отчего-то стало смешно и немного грустно, как на поминках не очень знакомого покойного. Неужели это все? Конеч. А сколько эта мельница перемолола, уму ведь непостижимо! Фараоны, кроманьонцы с острым камнем, псы-рыцари, просто псы и просто рыцари – с

плюмажем и в сияющих латах, Дантес медленно поднимает лепаж и щурится на морозе, Ильич хитровато щурится, кепку заломив, а Гагарин простодушно улыбается, вот ведь чудак, а еще майор. Индейцы и индийцы, одни в орлиных перьях, другие в позе лотоса, все уже пьют кока-колу из запотевших бутылок, папа римский и просто папа – Кирилл Анатольевич, от него пахнет елкой и апельсинами. Вот красавцы матадоры, бронзовые мускулистые легионеры и жестокие, небритые пираты, серьга в ухе, а за поясом, нет, за красным, атласным кушаком пара кремневых пистолетов, и мушкетеры во весь опор, из рыси в галоп, мчат в клубах желтой бретонской пыли, не чуя земли под собой, рвут на север, в сторону Па-де-Кале, а на юге встает колосс из каррарского мрамора, уперев упрямый затылок в синь, слепой Гомер кричит Сократу: «Не пей вина!» Куда там! Что он Гекубе, что ему Гекуба... Испанские гранды, то ли Сервантес, то ли Веласкес, такие строгие, такие юные. А Наполеону и сорока нет, а вон уже обрюзг, брюхом вперед – смотреть противно. А еще император! Да и Уинстон наш лорд Черчилль тоже не Аполлон, прямо скажем. Не Ален Делон. Да и сам Делон давно уж не Ален, а скорее тлен. Бледен, сух и мертв. Лорд Байрон, сэръ Вильям, ау! Ау! А-уу... Увы, дальнейшее – молчание.

– Неужели... – прошептала Филимонова, – неужели это все?

Зевнув, она спрятала лицо в ладонях. Покачалась вперед-назад, не убирая рук. После медленно завалилась на бок и, поджав под себя ноги, сразу уснула.

Ей приснился яркий, южный сон. Она вышла на слепящее крымское солнце и в белесую пыль. На голом каштане сидели две черные птицы, они с безразличием повернули головы и уставились на Филимонову. Она, не обращая на птиц внимания, направилась к морю. Пересекла пустынную площадь с сухим фонтаном и двумя фанерными ларьками. Море сияло слюдяной полоской. На набережной, выложенной пыльными мраморными плитами, стоял стол, на нем самовар. Два человека пили чай, Филимонова никак не могла разглядеть лиц – солнце било в глаза.

– Анютка, иди к нам. Почаевничаем.

Один силуэт уплотнился, обрел резкость и превратился в деда Артема. Бородища, мясистый нос в капельках пота. Филимонова села, придвинула чашку. Она до краев была наполнена сухим песком. Дед Артем улыбался, разглядеть второго человека Филимоновой мешало солнце, но она чувствовала, что он сердится. Филимонова подняла чашку, сделала вид, что пьет. Песок прилип к губам, попал в рот. Она знала, тот второй, сердитый, наблюдает за ней. Мне нравится чай, пусть видит – я пью. Она видела, что в их чашках был чай, густой, золотистый. Почему у меня песок? Она знала – спрашивать нельзя. Сердитый протянул руку к своей чашке, на руке была засохшая кровь, бурая, похожая на грязь.

– У тебя там песок, – сказал он.

– Прости ее. Она внучка мне, – попросил дед Артем. – Дай чаю ей.

Сердитый не ответил. Филимонова вдруг ощутила, как ее мучит жажда, песок попал в рот, хрустел на зубах. Ей хотелось, чтоб тот, сердитый, перестал злиться и дал ей напиться. От чувства несправедливости ей хотелось заплакать, зареветь, как в детстве. Что я ему сделала? Чего так взъелся? Я вообще ничего...

– ...Ничего, – повторил он.

Тут она увидела, что в ее чашке теперь чай. Ей стало радостно, легко. Захотелось обнять деда и того, сердитого. Она подняла глаза, их уже не было. Осталось солнце, море, появились чайки. Подул бриз.

«Господи, как же хорошо», – за секунду до пробуждения подумала Филимонова, блаженно лоя сквозь веки лимонный жар. Душа ее млела, даже склочные чайки не портили идиллию, их нервный гам сдувал ветер, легко унося в ватное никуда. Тот же ветер флегматично кокетничал, лениво щекотал прядью по лбу, но в целом вел себя вполне пристойно. Истому пробуждения хотелось растянуть до бесконечности. Неторопливый калейдоскоп белого, рыжего и леденцово-желтого завораживал, смена красок казалась жизненно

важной. Выше растекалась теплая, летняя синь. Она то бледнела, то разгоралась опять, вводила в соблазн и обещала почти райскую усладу.

Потом все пошло насмарку: Филимонова ощутила холодную тень, напозшую вместе с хихиканьем. Кто-то давился смехом. Чудо закончилось, дрема, суетливо прощаясь, пробормотала какую-то чушь напоследок и рассеялась. Филимонова с сожалением открыла глаза.

Солнце загораживала хромоножка.

– Фрау Ульрика тебя зовет, – резко сказала девчонка, уперев руки в бока. – Давай пошли.

Филимонова нащупала ногами тапки:

– Пошли.

– Так, что ли, и пойдешь? Лахудрой? – девчонка выпятила губу.

– Ага. Так и пойду. Лахудрой.

Хмурая Филимонова, до конца не проснувшись, шаркала по коридору. Она сжимала кулаки в карманах халата, исподлобья разглядывая тощие лопатки Велты. Та, прихрамывая, шла не оборачиваясь.

Ульрика оказалась в превосходном расположении духа. Увидев Филимонову, заулыбалась, поманила рукой и снова уткнулась в разбросанные по столу бумаги.

– Кушайте конфеты, девочки, – не поднимая головы, весело обратилась она, – монпасье, барбарис.

На углу стола стояла жестянка леденцов. Хромоножка, жеманно подошла к столу, долго ковырялась, сунула конфету в рот. После, нарочно гремя, выдвинула стул. Уселась верхом, уперев подбородок в спинку. Принялась звучно сосать, причмокивая и пуская слюни. Иногда вытаскивала леденец и, морща нос, разглядывала сквозь янтарную конфету то Ульрику, то Филимонову.

Ульрика увлеченно бормотала. Она что-то отмечала карандашом, перекладывая мятые листы. Филимонова, не вынимая рук из карманов, уселась в кресло.

– Ну вот, – протягивая несколько листов Филимоновой, сказала Ульрика, – тут не так много, за пару дней выучите.

Бумага была грязной и мятой, Филимонова брезгливо взяла листы. Слепой машинописный текст едва читался. Стихи?

– Что это? – спросила она.

– Ваша роль. Ваш предшественник, занятый в этой роли, стал жертвой несчастного случая во время рыбной ловли...

– Утопил его жиртрест, – встряла хромоножка, пуская липкие слюни.

– ...рыбной ловли, – игнорируя ее, продолжила Ульрика, – но тут на наше счастье появились вы. Перст судьбы – весьма изысканный жест, согласитесь.

Филимонова стала читать текст, выхватывая глазами разные строки, неразборчивые карандашные каракули рядом, подчеркивания, восклицательные знаки, ремарки «в ужасе», «кричит!!», «плачет».

– А Гамлет кто? Каха? – не отрываясь, мрачно спросила она.

Хромоножка захохотала неожиданно для ребенка хрипло и грубо. Ульрика покровительственно усмехнулась.

– Каха! Животное... Да будет вам известно, что сама Сара Бернар блистала в роли Гамлета на сценах «Одеона» и «Комеди Франсез». Да, да! И не удивляйтесь, женщины гораздо тоньше и чувствительней мужчин, а уж о лицедействе и говорить не приходится. Мы – прирожденные актрисы, – она улыбнулась, аккуратно потирая маленькие руки.

– Вы спросите, почему «Гамлет» (хотя Филимонова и не собиралась), отвечу. Хотя нет, вот, сами прочтите, вот здесь, с этого места, – Ульрика ногтем отчеркнула строку, – нет, вы

вслух давайте. Заодно и насладимся вашими декламаторскими талантами... или декламационными?.. Впрочем, неважно – читайте.

– Подумай, кто он, и проникнись страхом, – начала Филимонова деревянным голосом, – по званию он себе не голова, но сам в плену у своего рожденья. Не вправе он, как всякий человек, располагать собою...

– Видите, видите! Именно в плену у своего рожденья! – горячо заговорила Ульрика. – Он человек-функция. Ключевая функция, помните, я вам говорила? Давайте дальше, прошу прощенья, читайте. Хотя нет, стойте, я сама!

Ульрика, склоняясь над столом, принялась рыться в бумагах. Ворошила мятые листы, не нашла. Потом медленно выпрямилась, застыла:

– Я и так помню...

И, закрыв глаза, другим голосом, низким и спокойным, медленно начала:

– Свирепый Пирр, чьи черные доспехи
И мрак души напоминали ночь,
Когда лежал он, прячась в конском чреве,
Теперь закрасил черный цвет одежд
Малиновым, – и стал еще ужасней.
Теперь он с ног до головы в крови...

Вместе с голосом отяжелело ее лицо и жесты, она словно стала шире в плечах, устало прошла в угол, задумчиво замерла в тени. Хромоножка, уронив леденец на ковер, не сводила с нее глаз. Мокрые губы беззвучно повторяли слова. Девчонка, очевидно, тоже знала текст наизусть.

Филимонова слушала, ей вспомнился сон: дед Артем, песок в чашке. Тот, второй, сердитый. Что он сказал? Одно слово... Не помню... Почему мне так хотелось понравиться ему? Почему мне так важно, одобряют ли меня другие? Когда это началось, почему я не могу жить без оглядки, делать то, что я хочу?

Досада подступила к горлу – смесь ярости и унижения, такой знакомый горький вкус, привычный со школы. А после уже всегда и везде. Но глотать это, глотать и молчать учили именно там. У доски, в учительской, на инквизиторских педсоветах с вызовом родителей, потерянных и жалких, как линялые картинки из учебника. Ложь и лицемерие как способ выживания. Тюремная вонь затхлых коридоров, крашенных в несуществующую в природе гадкую зелень, запах мокрых тряпок и мела, запах бесправия и унижения. Обтесали в чурбачки, обкатали, как гальку, и выкинули в беспросветную жизнь, безысходно разлинованную, будто тетрадь по чистописанию. С годами глотать унижения и обиды стало легче, они уже не вставали поперек горла, да и вкус не был так горек. Ярость погасла, справедливость перешла в разряд нелепостей, честность стала граничить с глупостью. Трусость стала именоваться житейской мудростью. Праведный гнев, желание рывкнуть или треснуть по хамской морде смиренно забились под лавку, все реже скалили зубы. Она ждала достойного часа, важного повода, стоящей цели. Чего по пустякам кипятиться? Жизнь прошла, час не пробил, цель не появилась. Поводы возникали, но не столь важные.

Против ее воли в ней росла ненависть к Ульрике, к девчонке. Как ее зовут, эту хромую? Филимонова сжала подлокотник кресла. Закрыла глаза. Зачем я так, они просто больны. За что я их ненавижу, я бы не стала злиться на диабетика или больного туберкулезом. Запах сырости поднимался и тоже раздражал. Филимонова медленно встала, запахнула халат и молча направилась к двери.

Ульрика запнулась, перестала декламировать. Девчонка удивленно открыла рот, провожая Филимонову взглядом.

– Как вы смеете... – крикнула хромоножка ей в спину. – Когда фрау Ульрика... – конец фразы сорвался на визг.

– Конюхова, – не поворачиваясь, сказала Филимонова. – Прекратите комедию ломать. Без вас тошно.

30

Левая скула пульсировала и налилась жаркой болью. От соленой горечи во рту тошнило, Филимонова провела языком по зубам, вроде все на месте. Ее передернуло: последнее, что она помнила, это как Каха одним ударом сшиб ее, как она пыталась встать, бежать.

Она разлепила глаза. Вокруг стояла крошечная темень, она сначала испугалась, что ослепла. Не дыша от ужаса, пялилась в черноту и не видела ничего. Постепенно разглядела решетку, начала различать лежащие на полу фигуры. Узнала вонь нижнего трюма. Рядом кто-то сипло, неровно дышал. Филимонова хотела позвать Гинзбурга, получился тихий всхлип. Губы были разбиты, казались чужими и не слушались.

– Тут я, – совсем рядом прозвучал шепот. Расстроено спросил: – Ну как же так, Анна Кирилловна? Что ж нам теперь с вами делать?

Дальний конец коридора тускло осветился синеватым светом. Вспыхнул и погас.

– Гроза... – прошептал Гинзбург, и тут же снаружи грохнул гром. Рядом с Филимоновой кто-то взвизгнул. Потом скороговоркой, по-бабьи, начал молиться. Гром ударил снова, теперь чуть глуше. Тетка запнулась, выругалась и замолкла.

Глаза привыкли к темноте, соседка оказалась толстой, обритой наголо бабой. Теперь Филимонова различала решетку, дверь с висячим замком, длинный низкий коридор. Голова гудела, Филимонова не шевелилась, боясь разбудить боль. Все тело ныло, словно она целый день таскала мешки. В углу кто-то застонал, приглушенно, потом все громче и громче.

– Что это? – спросила Филимонова.

– Спариваются... – проворчал доктор, добавил, будто извиняясь: – Свинарник.

Женщина в углу вскрикнула. Снаружи прокатился гром, утробно и мягко откликнулось эхо, похоже, гроза уходила. Женщина всхлипнула, потом тихо засмеялась. Филимонова сглотнула, у нее пересохло в горле.

– Не хочу вас пугать... – осторожно начал доктор и закашлялся, Филимонова усмехнулась и перебила его:

– Неужто есть чем? Вы уж давайте не скрывайте, чего уж там...

– Выжить – не всегда благо. Умереть быстро, без тяготы, без проволочек – вот о чем надо мечтать. В этом милосердие природы. Или, если угодно, божья благодать. И вообще, утопить нас было крайне гуманно с его стороны. И будь я религиозен, непременно усмотрел бы в этом факте явную симпатию Господа к человечеству в целом. Очень мило – как котят в лукошке. Ласково и без лишней драмы.

Филимонова придвинулась к решетке, прислонилась лицом к влажным прутьям. Нижняя челюсть опухла, казалось, что болят все зубы разом.

– А ведь мог же огонь с небес насрать, – доктор тихо засмеялся. – Как Содом с Гоморрой спалить. Ведь мог? Или болезнь какую-нибудь. Вроде чумы. И чтоб никакой вакцины. Тоже вариант.

Бритая баба снова принялась молиться. Гинзбург начал кашлять в кулак, потом замолчал. Он сипло дышал, в задумчивости чем-то тихо клацая. Филимонова узнала звук – ее армейская зажигалка. В дальнем углу снова началась возня и мерные постанывания. Соседка, перестав молиться, поймала рукав Филимоновой и сильно потянула к себе.

– А вот вы зря надсмехаетесь, – сердито прошептала тетка ей в самое ухо. От соседки воняло рыбой, Филимонова отвернулась. Тетка придвинулась и заговорила громче.

– Вам бы все шуточки шутить... Знаю я... – Она пошмыгала носом. – А у них такие уловки бывают, – соседка присвистнула, – ой-ей-ей! Сейчас хорошо, у нас зима и окна заклеены все. Круминьш, физрук, он и гражданскую оборону ведет, спасибо ему, помог. Вы не замужем, нет? Все-таки нет лучше мужчины, чем отставной военный. Он и порядок соблюдает, и чистота вокруг, сам гладит-стирает, и не шалтай-болтай. Ходил тут один... Я ему – Яша, ну сними ботинки в прихожей, вон сколько грязи нанес, я ж только полы вымыла. Сидит, ухмыляется. Курит.

В темноте кто-то шепотом считал, торопливо и бессмысленно, сбивался и начинал снова. Филимонова закрыла глаза, сквозь муть и наплывающую головную боль голос соседки тек как липкая патока.

– А в том сентябре цветов у меня видимо-невидимо, гладиолусы в банки трехлитровые ставила, ваз не хватало, с первого сентября все. И астры. Хотя астра, по мне, так себе цветок, кладбищенский скорей, чем для живого человека, а уж тем более для классного руководителя. Я розы обожаю, это такой шикарный цветок, королевский просто.

Гинзбург изредка покашливал, Филимонова пыталась разглядеть лежащих на полу людей, но ничего, кроме черной густоты, не было видно. Тетка высморкалась в кулак, вытерла ладонь о грудь.

– Я ведь тоже сначала подумала, что мыши это. Настена мне даже какого-то мурзика притащила, да он все больше дрых. Дрыхнет себе и в ус не дует. Да и не мыши это были, мыши ведь не хихикают, верно? А тогда вечером, как стемнело, я видела, как нетопыри промеж берез шныряли, один нетопырь юркнул в форточку, два круга вокруг люстры сделал и исчез. На потолке след от крыла, будто тряпкой грязной махнули. Полоска такая пыльная, рядом с люстрой.

Филимонова бесшумно, перебирая руками по полу, боком, стала отползать от тетки – ей не очень нравился энтузиазм рассказчицы.

– По батарее стук да стук, мебель двигал. А ночью просыпаюсь, кровать подо мной ходунном ходит. И кто-то гнусавый из живота со мной разговаривает! А после появились бесы, два плюгавых. Бесенята скорей. Тот, из живота, им приказания стал приказывать.

Неожиданно тетка загнусавила низким противным, почти мужским баритоном. Слов Филимонова не разобрала, но судя по интонациям, тот, в животе, был явно не в духе и сердито бранился. Филимонова вжалась спиной в стену и стала бесшумно подниматься. В углу кто-то завопил, проснулся и заплакал. Тетка тем же утробным голосом надсадно захрипела:

– В преисподню! За гордый взгляд и лживый язык! Руки твои, проливающие кровь, сердце, кующее злые замыслы, ноги, бегущие к злодейству!

Вдруг где-то грохнул люк. Доктор вздрогнул, нащупал руку Филимоновой, сжал запястье. Соседка умолкла, настороженно привстала. В дальнем конце коридора послышался топот, кто-то спускался по лестнице, спускался быстро, почти бегом. Филимонова вцепилась в решетку, рядом сипло дышал Гинзбург. Два силуэта приближались к клетке, вспыхнул фонарик, тусклый луч запрыгал по полу, стенам. Филимонова инстинктивно отпрянула, ей захотелось забиться в дальний угол, спрятаться среди спящих тел, зажмуриться, заткнуть уши. Исчезнуть. Двое подошли вплотную к клетке, луч поширил по углам, приблизился, уткнулся в лицо.

– Вот она где... – пробормотал Каха, добавил, обращаясь к спутнику: – Чуть ухо не откусила, сука рыжая. Представляешь?

Бритая соседка снова заголосила:

– В преисподню! В смоляные кострища тебя, каиново семя!

В тот же момент загремел засов, и Каха угрожающе зашипел:

– А ну молчать, мать твою!

Решетка грохнула, но зайти он не успел, соседка, взыв по-волчьи, бросилась на него. Филимоновой показалось, что она вцепилась зубами ему в загривок. Каха согнулся и, хрипя, пытался отодрать ее от себя. Второй охранник растерялся и, приседая, норовил ухватить тетку за ногу.

– На палубу! – истошно заорал кто-то. Филимонова узнала голос Гинзбурга. Он распахнул дверь. – На палубу! Живо! Все наверх!

В клетке началась паника. Филимонова отползла в угол. Психи вскакивали, толкаясь, прорывались к выходу, кто-то заголосил латышскую песню. Топот и крики слились с эхом длинного коридора, Гинзбург подобрал фонарь и, размахивая желтым лучом над головой, побежал впереди толпы. Филимонова нащупала какую-то тряпку, натянула на себя. Застыла. Постепенно стало тихо, психи, похоже, уже были наверху. Каха, ругаясь, поднялся с пола. Выпрямился у решетки, вглядываясь в темень клетки. Филимонова перестала дышать и закрыла глаза. Каха что-то пробормотал по-грузински и, тяжело гремя сапогами, побежал наверх.

31

Только начало светать. Небо на востоке посерело, проступила линия горизонта. Филимонова доковыляла наверх и пыталась отдышаться. Правый бок болел, казалось, что там переломаны все ребра. Она прижалась щекой к стене, держась руками, осторожно обогнула угол. Палубу освещал прожектор, после дождя она сияла. Уродливые, длинные тени металась по стене рубки, люди вырывались из темноты и тут же исчезали во мраке. Абсолютно голый человек плясал на крыше автобуса, закидывая голову и размахивая руками. Филимонова увидела, как из-за цистерны выволокли хромоножку Велту, повалили и принялись топтать и бить ногами. От крика люди уже осипли, но продолжали вопить и визжать. Потом тело подняли и, как тряпичную куклу, выкинули за борт.

Филимонова пригнулась, стараясь не высовываться из тени, прокралась к шлюпкам. Они были затянуты серым брезентом, который свисал до палубы. Она поскользнулась, ударила колено, на четвереньках заползла под лодку. Нашла прореху, на корточках прильнула к брезенту. Психи поймали еще кого-то. Столпились, начали бить, над головами сверкнула сталь тесака. «С кухни, – подумала Филимонова, – ножи с кухни». Она заметила тощую фигуру, карабкающуюся на верх цистерны. Внизу сгрудились люди, они что-то кричали, задрав головы.

Затекли ноги, Филимонова встала на колени, но так было еще неудобней. У нее кружилась голова, ныл бок. Каждый раз, когда она поворачивалась, грудную клетку пронзала острая боль. Она легла на палубу, вытянула руки. Ее локоть уткнулся во что-то мягкое. Филимонова перевернулась на живот, стала ощупывать.

– Тихо... – прозвучал в темноте испуганный голос.

– Это вы? – удивилась Филимонова и убрала руку. Она не видела Ульрики, лишь темный силуэт у стены.

– Какая нелепость... – Ульрика попробовала рассмеяться, получился сиплый всхлип.

– Я всю жизнь боялась боли. Один раз меня уже убили. Теперь... – она всхлипнула, – опять...

Филимонова слышала частое, нервное дыхание. Она растерянно спросила:

– А это больно? Боль долго длится?

Ульрика не ответила, закрыла лицо руками. Снаружи что-то лязгнуло, потом кто-то пронзительно завизжал. Филимонова привстала, прильнула к дыре: вокруг цистерны собралась

толпа, наверху, у наливного люка, сгорбясь, стоял человек. Он что-то кричал вниз. Филимонова узнала доктора.

– Долго? – задумчиво повторила Ульрика. – Вечно...

На цистерну начал карабкаться человек, тот голый, что плясал на крыше автобуса. Доктор выпрямился. Голый почти забрался и пытался теперь стащить Гинзбурга вниз. Доктор пихнул голого ногой и тот свалился в толпу. Тут же кто-то снова полез на цистерну.

– Что мы делаем друг с другом? Я же делаю с тобой точно то же, что ты со мной. Я пью твою боль, а ты мою. – Ульрика опустилась на колени и, поймав руку Филимоновой, стала ее целовать. – Души нет. Она вытекла из меня вместе с болью и кровью. Как хорошо верить. А я не умею...

От мокрых теплых губ стало противно, Филимонова хотела выдернуть руку. Вместо этого она нагнулась и прижала Ульрику к себе. Та затихла, лишь часто моргала, щекоча щеку Филимоновой своими ресницами.

– Я тоже не умею, – прошептала Филимонова. – Сначала надо полюбить, а я не знаю как. Те, кто верит, им спокойно. Даже сейчас. Но я не могу выдумать Бога, не могу выдумать веры. Не может быть милосердный Господь и все это мучение...

Снаружи раздался многоголосый вой. Филимонова увидела, как доктор стянул с себя рубаху, скомкал ее и поднял над головой. Рубаха горела. Доктор откинул крышку наливного люка.

– Там бензин... – тихо сказала Ульрика.

Из жерла с ревом взметнулся столб рыжего огня, толпа ахнула, и тут же цистерна взорвалась. Огненный шар смахнул людей, их черные фигурки возникли на миг на лимонном фоне и тут же исчезли. Тугой жар пронесся по палубе. За ним растекался горящий бензин. Горела рубка, вспыхнули стоящие на палубе машины. Мимо зигзагами пробежал горящий человек, молча уткнулся в борт, сполз и превратился в кучу горящего тряпья. Огонь стремительно тек к лодкам.

– Вторая цистерна... – безучастно сказала Ульрика. – Там, за машинами.

Филимонова выбралась из-под брезента, крикнула Ульрике:

– Ну!

Та покачала головой, сказала:

– Спасательные круги. Там, за радиорубкой. Справа...

Филимонова замешкалась, хотела что-то сказать, что-то важное. Вместо этого пробормотала «спасибо» и побежала. Сзади грохнул взрыв. Филимонова обернулась, начали взрываться машины. Она сняла с крюков спасательный круг. Воняло паленой шерстью, Филимонова поняла, что это от ее волос. От жара пылало лицо, слезились глаза. Казалось, что горит все – палуба, железо рубки, шлюпки на кранах, сами краны. Она перегнулась через борт, там была чернота. Ухватив круг, она перевалилась через ограждение и полетела вниз.

32

Взорвалась вторая цистерна, огонь стекал по бортам, вода вокруг тоже горела. Воняло бензином и гарью. Потом что-то рвануло внутри, иллюминаторы от носа до кормы вспыхнули малиновым и погасли. Корабль осел и стал крениться набок. В сиреневое небо поднялся густой столб белого пара. Восток быстро светлел. Изнанка слоистых облаков стала оранжевой, неожиданно выплеснулось солнце. Наступило утро.

Филимонову относил все дальше и дальше от парома, но это было неважно, паром тонул. Кормовые трюмы заполнились водой, и корабль, выставив в небо нос, лениво, словно нехотя, погружался. Оттуда доносились звуки, похожие на сопенье и храп. Потом паром исчез. На поверхность всплыл гигантский пузырь, словно кто-то устало выдохнул. Филимонова продол-

жала смотреть туда, хотя это место уже ничем не отличалось от остальной воды, если не считать маслянистого радужного пятна. Скоро снесло и его. От горизонта до горизонта простиралась вода. Ничего, кроме воды.

Филимонова, держась за круг, подняла голову, по щекам текли слезы.

– Господи... – она прошептала, – ну когда все это...

Хотела молиться, в голову не пришло ничего, кроме тарабарщины «ежеси-на-небеси, во имя отца, сына и святого духа». Перед глазами возник гладкий, как муляж, распятый Христос, покрашенный розовой краской и прибитый к настоящему сосновому кресту. Струйки крови и ранка на боку были выписаны с тошнотворным реализмом. Гвозди тоже были настоящие, железные. В ту церковь на Таганке ее таскала бабка тайком от родителей. Вспомнилась свечная, теплая вонь, темные углы с рубиновыми лампадками и желтыми ликами мрачных святых. Злые старухи в тугих черных платках на паперти и у свечного прилавка. Они вечно что-то неопрятно жевали маленькими безгубыми ртами. От всего этого Филимонова тогда робела, ее охватывала жуть. Она послушно крестилась, ей казалось, что за ней следит кто-то строгий и от ее усердия зависит что-то важное. Этот строгий взирал сверху, он был нарисован на плафоне. Ему в лицо светило солнце, но он не шурился, а лишь строго морщил густые брови.

Сейчас страха не было, была усталость. Тот, строгий, повесился на яблоне, Филимонова, выйдя на крыльцо, первой увидела его. Деревянный муляж, железные гвозди. Роспись по сырой штукатурке, исполненная запойным богомазом. Никто за тобой не наблюдает, никому ты не нужна. «Какой я все-таки нелепый человек, – подумала она, – даже умереть толком не получается». Еще была какая-то мысль, что-то важное, но она никак не могла припомнить. Солнце начинало печь, по-южному немилосердно. Филимонова, запрокинув голову, намочила волосы, лицо. Тут она вспомнила – вода вокруг была соленой, морской.

Волны лениво катили на запад. Филимонова втиснулась в спасательный круг, раскинув руки, качалась вверх-вниз. Пыталась определить, сносит ее или болтает на одном месте. Ориентиров найти не удалось, вода вокруг напоминала бескрайнее поле с мерно ползущими холмами. Когда волна поднимала ее, Филимонова крутила головой, разглядывая горизонт. Потом перестала – там ничего не было, ничего, кроме воды. Она откинулась назад, стала смотреть в небо. Пить не хотелось, но было ясно, что умирать придется от жажды. Она вспомнила, что от морской воды наступает отравление и смерть – есть, значит, и такой вариант. Еще есть акулы. Сама видела. Об этом думать не стоило, она поджала ноги, внимательно оглядываясь вокруг. Только акул не хватало! Попыталась представить: ее однажды тыкнула овчарка – кровяца, шесть швов. Вспомнился ужас заживо пожираемого существа. Ее передернуло – ну вот примерно так, подумала она, нащупывая шрам на бедре. Лет двадцать прошло, а он все тут.

Солнце доползло до зенита. Филимонова оторвала полу халата, скрутила тюрбан. Тронула лоб, щеки. Лицо горело. Сожгла, наверное, подумалось равнодушно, словно не о себе. Мыслей не было, голова казалась тяжелой, будто была набита подмокшей ватой. Как сырой матрас. Она хмыкнула – еще бы, столько воды.

Задремала, когда открыла глаза, солнце уже покраснело и прилипло к горизонту. У скупого заката оказался скучный пепельно-сиреневый финал, запад быстро темнел, на фиолетовом востоке проклюнулась первая звезда.

Ночь наступила как-то вдруг. Вода маслянисто отливала синим, Филимоновой мерещилось, что какие-то морские твари тихо окружают ее неспешным хороводом. Чудились острые акулы плавники, беззвучно рассекающие волны. Она вглядывалась в чернильную темень воды, иногда вздрагивала не понятно отчего. Когда напряжение становилось невыносимым, она колодила по воде руками, яростно брыкалась. Кричала в темноту – ну жрите меня, твари, жрите!

Обессиленная, откидывалась назад. Сверху плыл Млечный Путь, Скорпион, Медведицы, безучастно моргал Стрелец – да и чего еще ждать от кентавра? Она мотала головой, бормотала: «Дорогой Бог, я так устала! Сделай что-нибудь... Если Ты есть».

Слезы были одного вкуса с морской водой – горьковато-соленые. Если Ты есть... А есть ли я? Он должен любить мою бессмертную душу, в существование которой я сама не очень верю. Я ничего толком не сделала, никого не любила. Даже себя.

По небу чиркнула звезда. Филимонова хмыкнула – вот, раззява, ничего загадать не успела. И так всю жизнь... Она закрыла глаза. Тот мальчишка, как же его звали? Игорь? Славик? Пусть будет Славик. Он подрался из-за нее с Сохатым, а Сохатого обходили даже взрослые мужики, когда он выкобенивался у ларька, стреляя мелочь на пиво. Он коневодил таганской шпаной, трусливой, но опасной, парнями лет пятнадцати с бритвами и заточками – тонкими острыми напильниками с пестрыми, наборными рукоятками. Шпана вилась возле пивной, высматривая поживу и задираясь к прохожим. Обирали подвыпивших, заводя в арку. Запросто могли полоснуть бритвой.

Филимоновой нравился Юрка Корзунов из параллельного, а тот Славик увязался ее провожать, она пожала плечами и мотнула толстой косой – валяй, дело хозяйское. Когда проходили мимо ларька, Сохатый громко спросил:

– Любопытно, пацаны, у этой крали и на манде волосня тоже рыжая, а?

Славик подошел и что-то сказал Сохатому, Филимонова не расслышала. Сохатый улыбнулся, сплюнул и ударил его коленом. Тут же подбежали дружки, Славик упал, его били ногами. Филимонова лезла, ее отталкивали. Потом кто-то крикнул «Атас!», шпану как сдуло, а он остался лежать на асфальте, поджав колени и закрыв лицо руками. Лицо все-таки разбили.

После он сидел на краю ванны, прямо и послушно, как прилежный школьник, а она, не пряча слез, возилась с бинтами.

В комнате она сказала ему – отвернись. Он пожал плечами и отвернулся. Она быстро стянула джинсы вместе с трусами. Вывернув наизнанку, сняла майку. Щелкнула застежкой, скомкав лифчик, сунула за диванную подушку.

Он повернулся, вздрогнул. Она видела, как разгораются его уши. Филимонова сделала шаг, взяла его руку, притянула к себе. Он был ниже ее, она уткнулась ему в висок, от волос пахло йодом и бинтами. Она прошептала:

– Я сама боюсь...

Он что-то пробормотал.

– Что? – спросила она.

– У меня... – смущенно сказал он, – губы разбиты, я тебя кровью испачкаю.

На горизонте моргнул слабый красный огонек, вспыхнул и погас. Загорелся снова. Филимонова перестала дышать. Вдруг она вспомнила: не Славик, его звали Лева, Лев Котельников. Огонек исчез, через секунду зажегся опять. Филимонова быстро начала грести, вытянув шею и стараясь не потерять огонь из виду. Светать еще не начало, в темноте расстояние определить было трудно. Казалось, что этот сигнал на краю света. В том, что это именно сигнал, у нее сомнений не было. Круг мешал плыть, тормозил, движения получались неуклюжими. Она стянула его, легла сверху. Дело пошло на лад, рукам теперь ничто не мешало. Ныла шея, но Филимонова не опускала голову, не отрываясь глядела в даль. Красная точка приближалась.

– Господи, дорогой! Сделай, чтоб там были люди! – запыхавшись, умоляла она. – Пожалуйста! Сделай, чтоб я в Тебя поверила! Помоги, я сама не умею. Не умею. Сделай Ты, и я в Тебя поверю. Пусть там будут люди, Господи. Я глупая, дрянная баба, никого не люблю, я даже себя ненавижу. Я ничего не могу с собой сделать. Сделай Ты. Я хочу верить, слышишь, хочу!

Проступил горизонт, вода оставалась черной, небо чуть поседело. Фонарь раскачивался, моргал, под ним густела тень. Разобрать пока ничего не удалось. Стало ясно – это не корабль, мелкая посудина, что-то не больше лодки или катера.

– Эй! Люди! – Филимонова крикнула, закашлялась.

Никто не отозвался. Она, тяжело дыша, продолжала грести. Красный фонарь покачивался, вправо-влево, кивал, как китайский болванчик. Филимонова разглядела силуэт – темный конус. Бакен. С фонарем на макушке.

Филимонова остановилась. Метрах в двадцати, в предрассветной мути качался большой рыжий буй с набитой по трафарету цифрой «17». Он был похож на клоунский колпак. Хотелось плакать, но сил не было. Она тихо завывала, подгребла к бакену.

– Семнадцать! Что ж ты со мной делаешь? – она устало стукнула кулаком в железный корпус. Тот откликнулся пустой бочкой. К корпусу были припаяны металлические скобы, Филимонова ухватилась за одну, попыталась подтянуться. Мокрый халат потянул вниз, она сорвалась, грохнулась в воду. Спасательный круг решил улизнуть, она его поймала за веревку. С третьей попытки ей удалось вскарабкаться на бакен, она накинула круг на штырь, на котором торчал фонарь. Рядом с цифрой была приделана латунная пластина с английским текстом: «Собственность береговой охраны Ее Королевского Величества Великобритании». Красный королевский фонарь безучастно мигал с равными интервалами. Филимонова зачем-то прислонилась к нему щекой.

– Теплый... – прошептала она и улыбнулась. За спиной что-то плеснуло, Филимонова обернулась, ничего не увидела, кроме чехарды мелких волн. Солнце, наверное, уже встало, но все небо было затянуто скучным, бледно-серым маревом. Вода тоже казалась серой, свинцовой.

Филимонова никак не могла отдышаться, она раскинула руки, прижалась к крашеному боку бакена. Становилось душно, хотелось пить. Снова раздался всплеск. По воде расходились круги, под бакеном прошла тень. Филимонова, вглядываясь вниз, сухо сглотнула. «Хоть бы дождь пошел», – подумала она и увидела плавник. Он появился метрах в двадцати. Треугольный, словно из мокрой резины. Филимонова толком ничего не успела рассмотреть, он беззвучно проскользил и ушел под воду. У Филимоновой вспотели ладони, железные скобы резали пятки. Она хотела устроиться поудобней, левая нога соскользнула, и она едва удержалась. Плавник появился с другой стороны, описал стремительную дугу и пропал. Филимонова вжалась в крашеное железо, прилипла щекой, мокрым телом, она слышала, как в гулкой пустоте бухает ее сердце.

Тень прошла под бум, теперь она видела отчетливо. Не меньше трех метров.

– Господи... – прошептала она.

Плавник показался снова, совсем близко. Вода отсвечивала, но она разглядела тело, похожее на торпеду, большой хвост полумесяцем, острую, хищную голову. Филимонова чувствовала, как затекли руки, онемели пальцы. К горлу подкатывало, она сглотнула, во рту стало горько, будто ее только что вырвало. Плавник исчез, но она видела темную, быструю тень. Тень скользила у самой поверхности, резко меняя направление, в этих местах на воде закручивались буруны. У Филимоновой закружилась голова, она зажмурилась, пытаясь остановить круговерть. Тут же снова открыла, испуганно шепча:

– Что же я делаю? Господи, что же я делаю?

Тень вдруг пропала. Филимонова, стараясь не потерять равновесия, осторожно обернулась. Там тоже ничего. Покрутила головой – ничего. Стало светлей, дымка рассосалась. Солнце так и не выглянуло, но от яркого белого света слепило глаза. Вода теперь казалась зеленоватой. Филимонова вдохнула, у нее мелко дрожал подбородок.

Тут бакен подскочил, удар в днище отозвался низким гулом, словно кто-то саданул снизу резиновой кувалдой. Филимонова вскрикнула и сорвалась в воду. Тут же вынырнула, пытаясь поймать скобу. Мокрые пальцы соскальзывали. Она колотила ногами, поднимая брызги и пену. Колено угодило во что-то упругое и тяжелое, словно боксерская груша. Филимонова завизжала, выскочила по грудь из воды и наконец уцепилась. Закинув ногу на нижнюю скобу, ей удалось подтянуться. Мокрый халат тянул вниз. Она выпуталась из него, он сполз в воду. Филимонова хотела поймать, оглянулась и увидела акулю морду. Совсем рядом. Черные, матовые

глаза, гуттаперчевая серая кожа, зубы. Острый спинной плавник. На нем, словно прочерченные белым грифелем, виднелись шрамы. Акула дернулась, разинув пасть, стремительно вцепилась в халат и утащила его на глубину. Все это произошло моментально. Филимонова, замерев, таращилась в воду, на то место, где только что плавал ее халат. Она боялась пошевелиться, боялась дышать. Тело будто свело судорогой, мозг тоже, не было ни одной мысли. Круги разошлись, волны безмятежно плескались, чмокали о железный бок бакена. Две чайки охотились вдали, они поднимались на высоту, кружились, а после камнем падали вниз. Филимонова закрыла глаза, вдавила лоб в крашенный металл. Воняло ржавчиной и тиной. За стакан воды она отдала бы все на свете.

33

Темнело. Акула так и не вернулась. Очевидно решив, что и сама Филимонова не вкуснее больничного халата. От жажды першило в горле, язык распух. Филимонова по-собачьи раскрывала рот, вдыхала теплый воздух, от привкуса соли и йода ее мутило. Облачность не рассеялась, к вечеру войлочная пелена затянула все небо. Но на дождь рассчитывать не стоило, это было очевидно.

Пыталась вспомнить, сколько может человек протянуть без воды. Мысли прыгали, постоянно возвращаясь к запотевшим бутылкам, кристальным стаканам, ледяным, прозрачным ключам и фонтанам. Сутки, двое? От чего наступает смерть? Наверное, просто сходишь с ума... Филимонова провела ладонью по губам, словно чужие – они тоже распухли и горели.

Стемнело, вокруг стало серо и тоскливо. Красный фонарь безразлично моргал, на его плоской макушке Филимонова разглядела солнечную батарею. «Вот оно что, – без особого интереса подумала она. – Теперь ясно...»

Можно прыгнуть в воду, нырнуть как можно глубже и там вдохнуть. Это должно сработать. А если там эта тварь притаилась? Филимонову передернуло, нет, в воде по своей воле она не окажется. Был бы яд! Как в кино, цианистый калий – раз и все. Или дуло в висок. Тоже наповал. И быстро. Хотя наверняка дикая боль.

Она вспомнила деда Артема: бледные ступни, пытающиеся дотянуться до стебельков травы. Увидела ясно, словно вчера это было. Она так никогда и не узнала причину. Сейчас ей казалось, что она вот-вот поймет, разгадает. Еще одна маленькая деталь и все сложится в ясную картину. Ведь она сама уже почти там.

По щекам текли слезы, они казались горячими, жгли распухшие губы. От красного моргания чернота вокруг была гробовая. Филимонова зажмурилась, но пульсирующая краснота пробивала сквозь веки.

«Я просто чокнусь, просто свихнусь от этого чертового семафора!» – прошептала она и вдруг завывала, сипло и едва слышно. Тело затекло, мышцы ныли. Она медленно разжала один кулак, пальцы не чувствовали ничего. Лишь мелкие иголки, миллион. Она просунула кисть в веревочную петлю спасательного круга, потянула – круг сидел прочно.

«Теперь, если я потеряю сознание или усну...» – она не додумала и уснула. В забытьи Филимонова продолжала обнимать бакен. Он вразвалку покачивался, педантично моргая красным. Рубиновая рябь рассыпалась по волнам, исчезая в черноте. Филимонова улыбалась, она очутилась в большой белой комнате. Окон не было, свет словно сочился сквозь молочные стены. От этого света становилось радостно. Сквозь стену, как сквозь туман, в комнату вошел Эдвард.

– Ты же... – Филимонова замялась.

– Нет, – он засмеялся. Засмеялся и протянул ей стакан воды.

Вкусней ничего не было на свете. Вода не кончалась. Филимонова жадно глотала, проливали на грудь, прохладные струи текли по животу, щекотали пах, стекали по ляжкам. Эдвард смеялся, русая прядь падала на лоб, он рукой откидывал ее назад.

– Я не могу напиться, – тоже смеясь, проговорила Филимонова. Вода из стакана лилась будто из крана, брызги искрились, летели во все стороны. Филимонова вдруг поняла, что на ней нет одежды, что она вся мокрая. Эдвард замолчал, протянул руку. Дотронулся до ключицы.

– Но ты ведь... – Филимонова ощутила холод его пальцев.

Рука скользнула вниз, сосок сразу набух, едва он сжал его. По животу побежали мурашки. Потом ниже. Другая рука на затылке – ее тело помнило все, – вот он прихватил ее ухо губами. Сладкая судорога свела низ живота. Накатила слабость, она нашла его рот, мокрый, холодный. Пахло розами, забытыми в вазе розами. Запах что-то напоминал, тревожил. Она отгоняла это. Сжимая его ягодицы, подалась вперед лобком. До упора. «Какая вам разница? – огрызалась она. – Отстаньте от меня!» Рядом никого не было, но ей чудилось, что сквозь молочную белизну за ними наблюдают сотни осуждающих глаз.

От роз мутило, она выгнула спину. Рот стал горячим, липким. Сладкие, жаркие слюны – словно проснулась с леденцом во рту. Поташило, ощутила, как ее затягивает мучительная истома, она задохнулась на секунду, потом хрипло вскрикнула.

Чайки белыми пятнами качались на волнах. Вдруг, как по команде, торопливо захлопали крыльями и разом взмыли прямо в золотой рассвет. Наступило утро.

Время исчезло, осталась жажда. Ничего, кроме жажды. Неужели у человека могут быть еще какие-то желания? Другие желания. Кроме желания пить.

Сколько прошло дней, она уже не помнила, ей казалось, что она всю жизнь торчит на этом чертовом бакене. Почти вросла в него. К полудню стало припекать, и Филимонова сползла в воду. Она помнила про акулу, но ей было плевать. Она, раскинув руки, опускала лицо в теплую, соленую воду, набирала ее в рот. Во рту становилось горько, начинало мутить. Волны покачивали ее, хлюпали по борту буя.

Солнце застряло в зените, вода посветлела, казалась бирюзовой. «Медный купорос» – непонятно откуда всплыло в ее голове. Что это? Как это называлось? Делать опыты, да. Кабинет химии, пробирки, бородатый Менделеев, похожий на больного дьякона. Вонь газа вперемешку с вонью кислот, щелочей, окисей, закисей... Господи, неужели это тоже я? Та, в тесной форме и с рыжим хвостом. «Аня, придется пригласить родителей в школу». Кристаллы купороса – совсем как бирюза. Мятые записки, потные ладони. Куда все сгинуло? Какой иезуит так устроил?

Филимонова вспоминала, в памяти проступали неясные лица, блики, запахи. Солнечное поле с полоской леса вдаль, пахнет нагретой травой. Дача. За пригорком – речка, ее не видно, но Филимонова знает, она там. Она бежит по тропинке, беззвучно шлепая сандалиями по сухой глине, во рту привкус черничного киселя.

– Как же я раньше не догадалась? Ведь так просто! – Она хотела улыбнуться, но губы спеклись и не двигались. – Это ж как смерть! Той Филимоновой, что бежала купаться, ведь ее больше нет. И вспоминаю я о ней словно о неизвестной девчонке. И другая Филимонова – та, которая женилась, разводилась, врала, шлялась, работала парикмахершей в Кронцилсе – ее тоже нет. И мне, сегодняшней, на нее плевать.

Филимонова, задыхаясь, бормотала, стараясь не упустить нить.

– Вот я... – она запнулась, – вот меня не станет. Я превращусь в пар, в лунный свет. В воду... Да, именно в воду! И мне будет точно так же плевать на вот эту вот дурацкую Филимонову, застрявшую сейчас на чертовом бакене.

Она бессильно шлепнула ладонью по воде.

– Господи! – Она подняла лицо. – Ты или садист, или дурак. Оставь меня наконец в покое!

Солнце пекло, время от времени Филимонова сонно погружала лицо и голову в воду. В тепловатой зеленой мути играл свет, лучи уходили вглубь, там гасли. Дно бакена – темный круг, поросший мягким плюшем, впаянное кольцо в центре с обрывком склизкого троса. От жажды горло першило, казалось, что глотка скукожилась. Слюна стала клейкой, тягучей, язык прилип к гортани. Появилось ощущение болезни, словно у нее жар: пьяная слабость забытья сменялась лихорадочной нервностью. Сердце колотилось, стучало в висках. Она выныривала, глотала соленый воздух, оглядывала безнадежно чистый горизонт. Дождь, господи, ну где же дождь?

Желание выжить перестало быть выбором, оно слилось с жаждой, это уже был инстинкт. Она поняла, что упустила момент, теперь у нее просто не хватит духа. Не хватит воли натянуть нос этому бородатому, там, наверху. Ведь недаром это смертный грех. Убивая себя, я убиваю и Его. Его сумасшедший мир. Я кричу – Ты решил развлечься, позабавиться, устроил всю эту чехарду. Ведь Ты всемогущий и вездесущий, и даже волос не упадет с моей головы без Твоего ведома. И вся эта кровь и смерть, и войны, и голод, и эти тощие африканские дети, чтодохнут как мухи, – все это Ты! Ты сотворил мир и увидел, что он хорош. Правда?! Землетрясения, засуха, наводнение – Тебе это нравится? Освенцим и Хиросима – ведь даже волос не упадет без Твоего ведома, не говоря уж про атомную бомбу. Выходит, и бомба тоже хорошо! Нравится! Да не маньяк ли Ты? Ведь даже ничтожные людишки по их законам – будь Ты одним из них – приговорили бы Тебя к высшей мере. Расстреляли, повесили, сожгли, гильотинировали, сгноили в тюрьме. Как маньяка и убийцу.

Филимонова вспомнила автобус на мосту, детские лица в запотевших окнах, ладошки, прижатые к стеклу. Серая вода несла мусор, набухала, поднималась на глазах. Вчера по радио говорили про угрозу прорыва Плявинисской плотины, дожди шли без перерыва почти неделю. Возможно наводнение. Филимонова бежала через парк, час назад объявили эвакуацию. Вещей не брать, только документы. Сухим пайком обеспечат по прибытии в безопасный район. Автобусы уходят с площади и с железнодорожной станции. До вокзала было ближе.

Дверь в церковь нараспашку, Филимонова заглянула внутрь – пусто, по полу рассыпаны тонкие свечки, серебряная мелочь. Сзади она услышала гул, обернулась. За деревьями не было видно ничего. Над головой с карканьем пронеслась воронья стая. Шум приближался, рос, наполнил грохот мощного водопада. Дальние деревья заколыхались, послышался треск сучьев. Филимонова застыла, какой-то звериный инстинкт говорил, что происходит что-то страшное. Сквозь деревья, огибая толстые стволы лип, вырывая кусты и ломая сучья, на нее неслась серая стена воды. Дверь на колокольню оказалась открытой, вода и грязь уже ворвались в храм, когда Филимонова взбиралась наверх по винтовой лестнице. Задышавшись, выскочила на площадку. Парк затопило, волна двигалась на запад, в сторону вокзала. Там на площади стояли автобусы, суетились мелкие фигурки. Волна накрыла людей, подхватила автобусы, лениво потащила дальше. Криков не было слышно, грохот стоял, как во время шторма. Филимонову трясло, словно в лихорадке, она повторяла снова и снова:

– Вещей не брать, только документы, вещей не брать...

Она перегнулась, вода уже подбиралась к крыше. В потоке мелькнула голая спина, руки. Рядом плыло желтое кресло, потом застряло, запутавшись в ветках высоких лип. Филимонова кусала кулак, пытаясь унять дрожь. Потом сползла по стене, уткнула лицо в колени. Как такое может быть? Что это?

Услышала приближающийся стрекот, подняла голову: над колокольней промчались два военных вертолета. Сделали вираж и понеслись в сторону Риги. Вокзал исчез, из воды торчала башня с часами, на них было час пятнадцать. Улица Ульманиса угадывалась по верхушкам фонарей, потом пропали и они, пропал кинотеатр, клуб с антеннами и спутниковыми тарелками на крыше. С востока поплыли белые пятнистые мешки, потом Филимонова разглядела – коровы, целое стадо мертвых коров. Она обернулась – часы исчезли. Посмотрела вниз.

От парка остались лишь верхушки лип, похожие на редкий кустарник. Вдали, на горе, торчала башня костела. Исчезло церковное кладбище, плотина, заброшенная мельница с мертвым колесом. Все ушло под воду. Вода прибывала.

Где-то выла сирена, надсадно и монотонно. Филимонова пошла вниз по лестнице, осторожно ступая, словно крадясь. На втором пролете уже была вода. Филимонова присела на корточки, замерла, наблюдая за уровнем. Трещина на стене, которую она взяла за отметку, скрылась минут за пять. На поверхность всплыла икона, Филимонова выудила ее – Николай-угодник. Неожиданно сирена смолкла. Сразу стало слышно, как снаружи ворчит вода. Филимонова поставила икону к стене, быстро пошла наверх.

Течение ослабло, теперь это напоминало пустынную, медлительную реку. Как в половодье, когда грязный коричневый поток угрюмо тащит мусор и всякую дрянь. Город исчез, от Кронцилса осталась верхушка костела, макушки старых лип и филимоновская колокольня.

Противно дрожали ноги. Филимонова опустилась на каменный пол, прижалась щекой к беленой стене. Пахло сырой извешткой. Закрыла глаза.

На прошлой неделе зарядили дожди. До этого стояла почти тропическая жара. Работы не было, Гунар Соломонович сидел в клиентском кресле с ноутбуком на коленях и развлекал Филимонову интернетными сплетнями.

– Вот послушайте, Анна Кирилловна – извержение вулкана в Антарктике! Я ж говорю – это апокалипсис. Достукались! Доигрались!

Завпарикмахерской торжественно потряс маленьким кулаком.

– Вот – в штате Невада во время подземных испытаний оружия нового поколения произошла катастрофа, повлекшая незапланированный взрыв нескольких ядерных устройств. Мощностъ взрыва не имеет аналогов и поэтому последствия непредсказуемы. Та-ак... – Гунар Соломонович что-то бормотал скороговоркой, пропуская не важные, на его взгляд, места. Филимонова уткнулась лбом в стекло, по Ульманиса вниз неслись потоки воды, дождь усердно колотил по асфальту, поливал набрякшую зелень деревьев, темные блестящие газоны. У фонарного столба кто-то оставил старый велосипед, он стоял там со вчерашнего дня, мокрый, забытый, никому не нужный.

– Тектонический сдвиг... так, так... своего рода цепная реакция... – Гунар Соломонович оторвался от экрана и ласковым голосом спросил: – Может, чайку, Анна Кирилловна? У меня пряники имеются. Медовые...

34

Бакен подскочил, обдал Филимонову водой. Ветер усиливался. Поднялась волна, мелкие барашки наперегонки побежали на запад. Горизонт был чист, но с севера надвигалась какая-то дымка. Филимонова вздрогнула, она даже не услышала, а скорее угадала едва различимый рокот, тихое ворчание. Неужели гроза? Неужели дождь! Ухватилась за скобу, с трудом подтянулась. На северо-западе, вдоль горизонта вытянулась серая полоса, верхний край ее расплывался, как акварель по мокрой бумаге.

Буй раскачивало из стороны в сторону, Филимонова ударилась грудью о край. Отпустила руки, шлепнулась в воду. Волна тут же отнесла ее в сторону. Никуда не денется, подумала Филимонова с растущей тревогой – бакен вдруг потащило вбок, быстро и уверенно, словно кто-то под водой тянул его за канат. Она пустилась вдогонку, сделала пару неуклюжих гребков. Руки казались свинцовыми, чужими. Филимонова, задыхаясь, перевернулась на спину, так плыть оказалось еще трудней. Бакен моргал красным, подпрыгивал на волнах, до него уже было метров десять. Не так уж много, догону...

Грохнул гром, гулко, с протяжным эхом, так на даче было слышно, как сцепляют составы. Половину неба затянуло серым, горизонт на западе теперь растекся чернильными разводами.

Там что-то лениво клубилось, изредка вспыхивая желтым мутным светом. Вода потемнела, волны бутылочного цвета, беспорядочно суетясь, неслись на запад. Начинался шторм. Филимонова поняла, что бакен ей уже не догнать. Она раскинула руки крестом, развела ноги, качаясь на волнах, стала смотреть вверх. Небо темнело. Набухало, будто опускалось. Пузатые тучи ползли, почти касаясь волн мохнатыми краями. Потом хлынул ливень.

Филимонова жмурилась, подставляя лицо хлестким струям. Раскрыв рот, она глотала дождь. Капли щекотали небо, она смеялась, вздрагивая от лимонных вспышек сипящих молний и оглушительного грома. Тучи затянули все небо, стало совсем темно. Молнии выхватывали на миг чехарду волн, исцарапанных дождем. Как черно-белый снимок – вспышка и сразу грохочущий мрак. Ливень шел стеной, Филимонова не верила, что сможет напиться, но жажда постепенно исчезла. Она закрыла глаза, раскинув руки. Гроза уползала на запад. Дождь выдыхался, стал реже, потом незаметно кончился.

Ночь навалилась сразу, словно кто-то выключил свет. Ни звезд, ни луны, крошечная темень. Хорошо бы утонуть во сне... Или потерять сознание и на дно...

Она открывала глаза, вертела головой – чернота. Волны укачивали, Филимонова чувствовала, как засыпает, вместо черноты появлялись пестрые пятна, они пьяно кружились, куда-то неслись. Хотелось туда, с ними. Это оказалось проще простого – она ведь не весила ничего, надо лишь оттолкнуться. Волосы за спиной уже струились кобыльей гривой, рыжей и дикой. Где же раньше эта воля была? Прожила, как каторжная... А тут такая свобода, оказывается. Филимонова вспомнила, что она в воде, что она может захлебнуться. От этой мысли ей стало смешно: это же сон, как во сне можно захлебнуться? Проснусь, как миленькая. Даже если утону.

Цветные пятна понеслись еще быстрее, уплотнились, переплелись лентами. Ну и чехарду они устроили – Филимонова засмеялась, тут же отозвалось эхо. Она крикнула:

– Эй! Есть кто живой?

В ответ снова раздался смех, эхо, кривляясь, повторило на все лады:

– Ой...ой...ой.

Вот ведь черти, улыбнулась Филимонова. И тут же появились черти. Верней, возникли тени, похожие на кляксы. Но она-то знала, кто это.

– Я вас не боюсь, – заявила Филимонова, неуверенно добавила: – Я сплю...

Черти заржали, эхо запрыгало, обезумело.

– Что тут смешного? – крикнула Филимонова.

– Ты умерла!

– Что?

– Сдохла! – эхо подхватило, и тут же кто-то взвизгнул фальцетом: – Копыта откинула!

– А-а-а! Ла-асты склеила! – завопил нервный тенор.

– Много-оя лета-а! – поддержал хмурый бас.

Вдруг все пропало. Бас еще гудел, прямо перед собой Филимонова увидела дверь. Она неуверенно потянулась к ручке. Тронула ржавую скобу, холодную и шершавую. Надо просто толкнуть. Она вспомнила эту дверь, догадалась, что за ней. В щель уже были видны седые доски крыльца, темная от росы лавка, на ней ржавая подкова, дальше острая зелень травы. Филимонова зажмурилась и распахнула дверь настежь. Пахнуло сырым утром, горькой мокрой золой, влажной известкой. Открыла глаза. Дед Артем сидел на корточках под яблоней, что-то разглядывал в руках. Рядом стояло битое ведро с известкой, торчала самодельная кисть.

– Деда, – Филимонова сделала шаг, спустилась с крыльца. – Ты что, яблони белишь?

Дед Артем поглядел на нее, снова опустил голову.

– Что у тебя там?

Филимонова подошла, присела рядом. Дед осторожно раскрыл ладони – там был птенец. Он дрожал, неловко выворачивая голые крылья, раскрывал клюв. От писка у Филимоновой побежали мурашки.

– Деда, его надо в гнездо!

Дед помотал головой.

– Не жилец он, Нюрка. Покалечился.

Одну лапу птенец поджимал, она напоминала сухую ветку.

– Ну и что! Давай я его выкормлю, червей в хлеву сейчас собираю. Или зерна!

– Мал он. Только мучить будешь тварь божью понапрасну. Не станет он есть.

– Нет, станет!

– Ты, Нюрка, не спорь, ступай в сарай, принеси лопату.

Филимонова пошла к сараю, писк вдруг оборвался. Она бросилась назад, птенец лежал на траве.

– Ты что... – она задохнулась. – Ты что... его убил?!

Она закричала и тут же проснулась. От крика она поперхнулась, закашлялась. Вода попала в нос, в горло. Филимонова барахталась, отплевываясь и ругаясь. Небо посерело, на востоке загорелись жидкие облака. Ни ветра, ни волн, полный штиль. Филимонова отдышалась, от соленой воды саднило горло. Она, плавно разгребая воду, осмотрелась. На западе темнели горы.

Она замотала головой, зажмурилась, протерла глаза: макушки гор посветлели, проступили морщины и складки на склонах. Филимонова ударила кулаком по воде, хотела закричать. Крика не получилось, горло сдавило, она беззвучно заплакала. За спиной показалось солнце, верхушки гор стали розовыми. Филимонова, словно боясь, что земля исчезнет, как мираж, не отводила глаз. Начала грести.

Расстояние определить было трудно, но ей казалось, что она может различить детали на берегу. Она уже ясно видела грузовик с синим кузовом и несколько катеров. По склону вверх уходили черные опоры, у обрыва она разглядела кабину фуникулера. В долине, за темной рощей, рыжели черепичные крыши.

– Господи, дым... – прошептала Филимонова.

Над крышей вытянулась прозрачная струйка сизого дыма и медленно поползла в небо.

Обнаженная натура (фрагмент)

Часть первая

Хочешь, я расскажу тебе, как нас учили рисовать?

Обучение классическому рисунку – штука нудная и малоинтересная и начинается оно с правильной заточки карандаша. Господи, сколько карандашей я перезатачивал – триста, пятьсот, тысячу! – прежде чем освоил эту премудрость! Никаких точилок, никаких механических приспособлений – только нож и руки. Нож должен быть тяжелым, с бритвенно-острым лезвием. Некоторые пользуются скальпелем, но у скальпеля при завидной остроте недостает веса. Торопиться нельзя, плавность движений – залог успеха, очень важно воспринимать процесс не как досадную неизбежность, а как творческий акт: грамотно заточенный карандаш должен стать твоим первым произведением искусства.

Выбор бумаги тоже важен. Плотный и чуть шершавый ватман – вот идеальный вариант для классического рисунка. По гладкой бумаге графит будет скользить, как по стеклу, чересчур шершавая поверхность вроде торшона – бумаги, идеальной для акварели, – при штриховке проявит свою фактуру и даст грязь. Настоящий рисовальщик никогда не скручивает бумагу в рулон, этим художник отличается от чертежника. Ватман рисовальщика хранится в папке, именно по этим черным гигантским папкам всегда можно выделить из толпы будущего мастера.

1

Меня приняли в Брю, или, если официально, в художественно-графическое училище имени Карла Брюллова, в неполных восемнадцать лет. Я оказался самым юным в группе, не считая Людочки Беккер, которая, впрочем, и через пять лет, на дипломе, выглядела почти школьницей. Училище размещалось на задворках Лефортово, в бывшей Немецкой слободе, в старом школьном здании из красного кирпича с белеными колоннами. Фасад украшали мертвые часы, застывшие на половине первого, да еще цементные барельефы писателей, Толстой напоминал Дарвина, а Горький больше походил на Ницше. А может, это и был Ницше, коварно отлитый каким-то диссидентствующим скульптором. Парадный подъезд выходил на узкую улицу, которая упиралась в глухой зеленый забор. Из-за забора выглядывали макушки кленов, и изредка доносилась заунывная музыка Шопена. Там начиналось Немецкое кладбище.

Весь третий этаж занимали классы живописи и рисунка, в коридорах терпко пахло масляными красками и скипидаром, вдоль стены на грязноватых тумбах стояли пыльные гипсовые головы – лобастый Цезарь, гладкий Аполлон, взъерошенный Сократ. До них мы добрались лишь к концу третьего семестра.

Первый курс начался с унылого натюрморта – щербатый гипсовый конус на фоне линялой коричневой тряпки. Через несколько занятий к конусу добавился шар, потом еще и цилиндр. Цель тоскливых упражнений сводилась не только к умению составить гармоничную композицию на листе, но и к освоению технических навыков – рука рисовальщика должна стать идеально точным инструментом.

Во время осады Флоренции принцем Оранским Микеланджело угодил в плен; ему удалось избежать смерти, убедив испанцев, что он не шпион, а художник, нарисовав с закрытыми глазами два идеальных круга метрового диаметра – одновременно правой и левой рукой. На самом деле Микеланджело, не будучи лазутчиком, являлся одним из руководителей обороны

города, гонфалоньер Каппони назначил его архитектором всех фортификационных сооружений Флоренции. Именно его стены превратили город в неприступную крепость.

Если вдуматься, то любой художник по своей сути – обманщик. Иллюзионист. Ведь что такое картина, если не визуальный фокус? На плоской поверхности путем разных художественно-графических трюков создается иллюзия трехмерного мира. Посмотрите на толпы зрителей, зачарованно блуждающих по галереям и музеям мира: с какой страстью и трепетом они вглядываются в эти старые холсты, натянутые на подрамники и покрытые разноцветными красками! Ради них идут на преступления. А какие сумасшедшие деньги платят на аукционах – и за что? За раскрашенные тряпки, вставленные в золоченые рамы.

Классический рисунок подкупает своим аскетизмом, своей честной простотой. Живописец вооружен палитрой с сотней оттенков каждого из цветов радуги, у него на выбор кисти всех размеров – от острой, как жало, нулевки до малярного флейца. Рисовальщик подобен матадору, в правой руке – карандаш, в левой – ластик. Перед ним – пугающий своей девственной белизной лист ватмана. Как страшно нанести первый штрих, испортить гармонию идеальной пустоты своей корявой линией!

К концу семестра мы перешли к капителям – три классических ордера: простой дорический, с плоским эхином, затем – ионический, с двумя волютами, напоминающими закрученные бараньи рога, и под конец – коринфский, без меры украшенный завитками и финтифлюшками. Рисовать гипсовые колонны оказалось не более интересно, чем дурацкие кубы и пирамиды.

Зато новый учебный год открылся сюрпризом: на подиуме, закутанном черной драпировкой, сахарной головой белел человеческий череп. Череп был гипсовой отливкой превосходного качества, отлично были видны соединения костей, из которых состоит человеческая голова. В следующем семестре мы уже рисовали скелет целиком. Покончив с костями, мы перешли к мышцам, а именно к знаменитым моделям Жан-Антуана Гудона – жутковатые для неподготовленного зрителя, они представляют собой копию человека в натуральную величину, только без кожи. Они и назывались «экорше», что в переводе с французского означает «ободранный».

К концу зимы мы уже были готовы к главному испытанию – к обнаженке, или, если официально, к рисунку обнаженной натуры. Первой моей моделью оказался коренастый старик с большими желтыми ступнями и красными узловатыми руками. Он возвышался на подиуме, опираясь на палку от швабры, точно на копье, усталый, с выпяченным бледным животом и внушительными гениталиями, затянутыми в холщовый мешок на завязках. Людочка Беккер, ее мольберт стоял рядом с моим, наливалась румянцем, стараясь не пялиться на седые космы, торчащие из этого импровизированного гульфика. У ног старика тихо потрескивал рефлектор с жаркой оранжевой спиралью.

После старика, к началу марта, появилась крашенная тетка, которая требовала называть себя Ангелиной Павловной. Она была профессиональной натурщицей, по слухам, в молодости ее рисовал даже кто-то из академиков. Тетка по-барски долго раздевалась за ширмой, после томно выплывала оттуда в черном атласном халате с порочными кружевами. На стул она пристраивала подушку.

Нагота Ангелины Павловны была далека от эротизма – сероватые прожилки на парафиновых грудях, куриная кожа дряблой шеи, жирные ляжки и грязные плоские пятки производили скорее обратный эффект. Впрочем, значения это не имело, поскольку стоило мне прикоснуться карандашом к бумаге, голая женщина в моем сознании исчезала, и на ее месте появлялась обнаженная натурщица, обращенная ко мне в три четверти. С этого момента Ангелина Павловна превращалась в гармоничную конструкцию из идеальных костей, обтянутых превосходно упругими мышцами. Динамичный поворот торса, сильная шея, горделивая посадка головы, энергичный угол локтя – вот что я видел. Даже складки жира неожиданно

обретали визуальную привлекательность, варикозные вены и непробритые подмышки становились любопытными объектами для рисования.

В перерывах Ангелина Павловна отдыхала в преподавательской. Она курила длинные и тонкие, как гвозди, сигареты, оставляя на золотом ободке мундштука кровавую полоску жирной помады. Натурщица неспешно прохаживалась, стряхивая пепел небрежным жестом прямо на пол. С важностью королевы в изгнании она поглядывала в коридор, время от времени появляясь в открытом проеме распахнутой двери. Или, благосклонно наклонив голову, слушала байки Ильи Викентьича, нашего учителя рисования, мелкого и ухватистого мужичка, похожего на уволенного за пьянство сельского дьячка.

В начале апреля она заболела. Слегла с воспалением легких, о чем сообщил нам Викентьич, озадаченно почесывая репинскую бородку. Дело в том, что по рисунку обнаженной Ангелины Павловны нам должны были ставить оценку за семестр, а из семидесяти двух часов, отведенных на задание, мы отрисовали лишь половину. Викентьич пообещал к следующему занятию раздобыть нам новую натуру, юные рисовальщики возмутились: никому не хотелось начинать задание с нуля. Бунт закончился побегом с занятий, часть группы пошла в кино, другая, включая Илью Викентьича, – в пивную у трамвайного депо.

2

Пытаюсь вспомнить, как я тебя впервые увидел. Вернее, что почувствовал, ведь не мог не почувствовать, правда? Сейчас-то мне кажется, что был удар, глухой и мощный, точно столкнулись две вселенных. Ба-бах! – и эхо, как от дальнего грома... А за секунду до этого я ощутил, ощутил нутром, ощутил кожей, взмах больших и упругих крыльев над головой. Знак? – безусловно. Но ведь крылья бывают не только у ангелов – верно? – да и ангелы бывают разные.

В ту пятницу я опоздал. Утро выдалось сиротское, прищуренное, с неба сыпал мокрый снег – и это в апреле. Я забыл перчатки и плелся по лужам от трамвайной остановки в сторону кладбища. Дерматиновая папка с бумагой и метровым подрамником, к тому же набитая всяким художественным хламом, упрямо сползала с плеча.

В аудитории пахло сырой пылью и тряпками, точно в нетопленной лавке старьевщика. Студенты моей группы, человек восемь, уже расставили мольберты вокруг подиума. Я втиснул свой мольберт, неживыми пальцами прикнопил лист. Достал нож, начал точить карандаш. На подиуме стоял пустой стул. Точнее, стул был не совсем пуст, на сиденье сияла вишневым атласом кокетливая подушка с вышитым золотой ниткой петухом – все, что осталось от величественной Ангелины Павловны.

За окном снег сменился дождем, капли увесисто колотили по жести подоконника. Из-за драной ширмы выглядывали резиновые сапоги пронзительно-желтого цвета – в таких гринписовцы спасают заляпанных нефтью пеликанов на Калифорнийском побережье. Тонкая струйка воды вытекла из-под литой рифленой подошвы. Людочка Беккер тронула меня за плечо и попросила нож, я взял нож за лезвие и хотел протянуть ей, но так и застыл на полпути. Замер, как истукан.

Именно в этот момент из-за ширмы появилась ты. Бесшумно ступая на цыпочках, ты в три шага поднялась на подиум, скользнула по мне взглядом и опустилась на вишневую подушку с золотым петухом. Три вещи произошли одновременно: в аудитории стало светлее – понимаю, звучит дико пошло, но это истинная правда, – словно солнце проклюнулось сквозь пелену туч и заглянуло в окно. Это раз. Вторая: за моей спиной тихо присвистнул Игорь Малиновский, талантливый мерзавец, с лицом парижского педераста, на которого (по непонятной причине) вешались все девицы курса. За этот свист я был готов вырвать его сердце голыми руками. И третья – с кладбища долетел траурный марш Шопена, а именно та его часть, третья, где

неожиданно возникает мажорная мелодия, робкая и певучая, точно ангельский голос пробился сквозь черноту ада, намекая, что не все еще потеряно.

Поперек твоего живота отпечатался след от резинки – трусов или колготок. По неясной причине эта розовая, едва различимая полоска показалась мне невероятно эротичной и целомудренной одновременно. Не крупные темные соски и не плавная линия бедра, не сладострастная, почти животная, выгнутость спины и не золотистый пушок на полинявшем загаре рук – нет, невзрачный след от резинки. Я сглотнул слюну, чувствуя, как разгораются мои уши.

Описывать красоту женского тела – занятие безнадежное. Да и что есть красота? Восточные эротоманы воспевали женский пупок, особенно их возбуждала его вместительность – о, дивная пери, твой пупок вмещает сорок унций благовонного масла. Они же сравнивали женские ноги с мраморными колоннами. У Тициана есть загадочная картина, которая называется «Любовь небесная и любовь земная». Композиция проста: на мраморном саркофаге с барельефом каких-то затейливых узоров, сидят две женщины. Слева – венецианская матрона в белом платье и с мандолиной в руках, справа – обнаженная дама с чашей, в которой пылает огонь. Я всегда считал мадам в белом платье аллегорией любви небесной – прилично одетая, да к тому же с музыкальным инструментом. Нагота же ассоциировалась с чувственностью, греховностью, безусловно, атрибутами земного бытия. Выяснилось, что все как раз наоборот – голая тетка олицетворяла чистоту чувств, а расфуфыренная модница в расшитом бисером платье, батистовых перчатках и розами в волосах – тщеславие и фальшь.

В аудитории боком задвинулся Викентьич, прикрыл дверь. Начал говорить, закашлялся, махнул рукой, начал снова.

– Бездельники и оболтусы! Относится не ко всем. – Он бережно вытер губы белым платком. Викентьич был на редкость опрятным алкоголиком. – Но те, к кому относится, это знают. Не верьте, что с четвертого курса не отчисляются, отчисляются и еще как! По результатам этого задания будет выставляться оценка за семестр, которая, безусловно, повлияет на оценку за год. Более того, для тех из вас, кто мечтает защищать диплом по моей кафедре или кафедре Шустова, наступает момент истины...

Он со значением посмотрел на меня, на Малиновского, потом на Заику. По слухам, отец Викентьича служил в личной охране Сталина, у них дома, на Кутузовском, якобы хранилась вересковая трубка вождя – подарок Виссарионыча верному телохранителю. Отца я не видел, но сам Викентьич был на удивление мелок, плюгав и тщедушен.

– Сорок два часа – уйма времени. Леонардо, Веласкес, Дюрер или Репин за это время создали бы шедевр. Хочу посмотреть, на что способны вы. Тем более с такой... – Викентьич замялся, неловко повернулся к подиуму, – м-м, э-э, с такой моделью. Прошу любить, как говорится... Наша новая натурщица – Лариса...

Он сделал паузу, взглянул на тебя, ожидая отчества.

– Лариса, – повторила ты. – Просто Лариса.

3

Смысл рисунка – не в копировании природы, натура – всего лишь отправная точка, она – твоё вдохновение. Нельзя по частям, как это делают новички, переносить природу на бумагу: срисовать похожий глаз, к нему приделать нос, потом пририсовать плечо и руку. Перед тобой чистый лист, пустота. Ты подобен Творцу. Ведь недаром говорят, что творчество – единственная божественная черта в человеке.

Я чуть отодвинул стул – расстояние до мольберта должно быть равно вытянутой руке. Прищурился и сосредоточился. Начало процесса рисования подобно медитации. Еще до того, как карандаш коснется бумаги, важно увидеть, каким будет твой рисунок в законченном виде. Увидеть и попытаться удержать образ в своем сознании. Композиция в листе – первый шаг,

ошибка здесь будет непоправимой. Как бы мастерски ты не отштриховал модель, рисунок получится неудачным, если композиция не уравновешенна. Если изображаемый объект зажат в угол или уехал вниз. Или, наоборот, уперся головой в край листа. Или же выглядит карликом, или ему очевидно тесно в твоём формате. Такую ошибку исправить нельзя.

Первые линии. Рука движется легко и свободно, одновременно она обладает стальной точностью. Карандаш подобен острию рапиры, изящество движений передается твоему рисунку. Стремительно намечены пропорции, определено, где закончится голова, куда упрутся ноги. Вот локоть, тут колено.

Движения твои стремительны, это почти танец. Важно не упустить образ, не потерять ритм. Решительной вертикальной линией определяется динамика позы. Модель сидит? Да. Но это не значит, что у нее нет внутренней динамики. Это же не мешок картошки, не прибрежный валун. Ради чего ты потратил годы на изучение всех этих костей, мышц и сухожилий? Именно ради этого. Именно для того, чтобы увидеть внутреннюю конструкцию, найти сжатую пружину, спрятанную под кожей. Невидимую никому, кроме избранных, посвященных в тайну мастерства.

В перерыве случилась драка. Я первый раз в своей жизни ударил человека в лицо. Мы курили на лестнице между этажами, в широком пролете окна виднелась высыхающая жесть крыш. Дождь кончился, по тюремной краске коридора хворое солнце раскидало молочные пятна. К куреву я пристрастился недавно, поэтому затягивался осторожно, стараясь не закашляться.

Малиновский изощренно куражился над Заикой: под маской сердечной заинтересованности ласково расспрашивал его о чем-то, тот простодушно вдавался в подробности, спотыкался на неизбежных «т» и «д», застревал, буксовал, пытаюсь выговорить проклятое слово. Внизу какой-то псих непрерывно давил на клаксон, я выглянул в окно – караван из пяти похоронных автобусов с черными лентами по борту застрял на перекрестке. В одном из автобусов за янтарными стеклами сидели черные силуэты музыкантов с инструментами, в прореху неопрятных облаков брызнуло солнце и тут же на меди труб вспыхнули обнадеживающие зайчики.

– Саламандра, зеленая саламандра. – Малиновскому наскулил Заика, он теперь обращался к Эдику, по кличке Дункель, из другой группы. – Клеймо! Помнишь, как лилия на плече леди Винтер?

– Какой Винтер? – Дункель выпустил клуб дыма в лицо Малиновскому. – Не говорите загадками, доктор.

– У нее татуировка на ноге... – Малиновский отмахнулся от дыма ладошкой.

– Ты ж говорил, на плече...

До меня дошло, что речь идет о нашей новой натурщице. О Ларисе. Это у нее на голени была выколота зеленая ящерица.

– Дункель, – проговорил Малиновский ласково, точно пытался объяснить что-то ребенку или идиоту, – ты про секту Костюковича слышал?

– Это который девками торгует?

– Не просто торгует, – Малиновский облизнул мокрые губы. – Он их зомбирует...

– Орально! – заржал Дункель.

– Осел ты. Зомбирует по полной программе. И если знать кодовое слово, то она становится как робот. Сечешь? Выполняет любое твоё желание, как рабыня в гареме. Желает в рот – пожалуйста, хочешь в...

– А при чем тут саламандра? – перебил я и повернулся к Малиновскому, зло воткнув окурок в консервную банку, заменявшую пепельницу.

За окном продолжали настырно сигналить. К нам подошла Таня Зотова, красуля с пятого курса, томная, как экзотическая аквариумная рыба. Вынула длинную сигаретку и вставила в

красный рот. Малиновский изящно щелкнул своим «ронсоном». Прищурясь, посмотрел на меня.

– Не уверен, что тема данного разговора подходит для твоих девственных ушей, Голубь, – усмехнулся он. – С твоей необузданной фантазией, боюсь, от таких историй тебя по ночам поллюции замучают.

Слово «поллюции» он произнес медленно и с удовольствием. Зотова глупо засмеялась, Дункель заржал. Малиновский хотел еще что-то добавить, но не успел.

Такого обилия крови я не ожидал. Если честно, то я вообще ничего не ожидал. Все произошло само собой – я сжал кулак и ударил. Кровь хлестала из разбитых губ, страшным мокрым пятном расцветала на пижонской белой рубашке, кляксами покрывала грязный кафель пола.

Последующие пятнадцать минут начисто выпали из моей памяти. Следующий эпизод – Людочка Беккер нашла меня на скамейке у кладбищенского входа. Костяшки моей правой руки были разбиты, я слизывал и сплевывал кровь на желтый песок аллеи. Слизывал и сплевывал, тупо разглядывая грязноватый песок, две горелые спички и сплюснутый окурок. В голове пульсировала пугающая пустота.

Людочка села рядом, молча обняла меня за плечи. От ее льняных русалочьих волос пахло чем-то горьковатым, вроде подгорелого миндаля. Я слышал, как она дышит – аккуратно и размеренно, как большая и добрая собака. Я перестал лизать кулак, попытался попасть в такт ее дыханию, попытался успокоиться.

– Его мать их бросила, – тихо проговорила Людочка мне в ухо. – Их с отцом. И сбежала прямо под Новый год...

– Чья мать? – сипло спросил я.

– Малиновского. Сбежала под Новый год. С испанцем, представляешь?

Я кивнул. Представил испанца, злого и поджарого, в костюме матадора – рейтузы, золотое шитье. Шпага, спрятанная в мулету. Усы, как у Сальвадора Дали.

– Я думал, у них там уже запретили... это.

– Что – это? Адюльтер?

– Нет, корриду.

– Голубев, – Людочка строго посмотрела на меня. – При чем тут коррида?

– Коррида? Понятия не имею, – чистосердечно признался я.

Мы помолчали, и я ни с того ни с сего проговорил:

– Ты знаешь, ударить человека по лицу, вот так вот – в кровь... Знаешь, как это страшно...

4

Я остался один. Снова заморосило. Песок темнел на глазах, раскрылись зонты, становясь тут же сочнее и ярче, точно кто-то торопливый покрывал их лаком. Мимо прошла дама с рыбьим лицом, задержалась у старухи, торговавшей цветами из пузатой хозяйственной сумки. Выбрала сиротский букет астр. Такой даже мертвому получить обидно, подумал я, и в этот момент в конце аллеи заметил желтые сапоги.

– Лариса, – прошептал я обреченно.

Она помедлила у входа в церковь, словно не решаясь, потом все-таки поднялась по ступеням и толкнула дверь. Вошла. Дверь медленно затворилась за ней. Сам не знаю зачем, я досчитал до ста, после почти бегом кинулся к храму.

Церковный сумрак, почти осязаемый от тяжкого свечного смрада и горького запаха нечищенной меди, протыкали пыльные лучи из узких окошек где-то наверху. Перед слепыми иконами леденцовым рубином сияли лампы. Тускло светилось серебро окладов. Христос, жут-

коватый своей натуральностью, раскинув парафиновые руки с плоскими ладонями, выплывал из алтарного мрака, точно пытался куда-то улететь.

С самого раннего детства православные храмы наводили на меня тоску: моя бабка, генеральская вдова, после смерти деда став неожиданно религиозной, таскала меня по московским храмам, несколько раз мы даже добирались до Загорска. В церквях она ставила свечи, что-то шептала, неловко крестясь. Я тихо цепенел рядом от мрачной торжественности, разглядывал фрески и иконы, тайком следил за бородатыми священниками в длинных одеждах. Происходящее выглядело пугающе, излишне драматично, а главное, было лишено всякой логики: вместо того чтобы гонять в футбол, кататься на велике или просто гулять по солнечному парку, эти люди забивались в душное помещение и в полумраке слушали какие-то хоровые песни, в которых я мог разобрать лишь «Господи помилуй».

– Лариса, – прошептал я, словно пробуя имя на вкус.

Не знаю, молилась она или просто стояла у иконы какого-то малоизвестного святого. Отчаянная желтизна ее сапог казалась почти кощунственной. На стене рядом темнела старая фреска, я узнал сюжет, один из бесспорных хитов Нового Завета – «Усекновение главы Иоанна Крестителя». В слове «усекновение» мне слышится некое псевдославянское кокетство. Впрочем, западный вариант «обезглавливание» немногим лучше.

Саломея, юное существо, едва достигшее половой зрелости, в награду за свой танец просит в подарок голову пророка. Буквально – отрубить и принести на блюде. Откуда в простой еврейской девушке такая кровожадность? Генетика тому виной, скверное воспитание или дурное влияние окружающих?

На фреске художник добавил ей лет десять; широкоплечая и сисястая, она напоминала бойкую ассистентку балаганного факира. Ухватив не очень умело нарисованными руками поднос, она показывала нам свой приз – отрубленную голову. Пророк, лохматый и бородатый, как хиппи, продолжал смотреть на мир большими черными глазами. Его голова плавала в алой лужице, красный пунктир изображал капающую с подноса кровь.

Иоанн, родственник Христа и его идейный предтеча, образец высокой морали в мире повального инцеста и изощренных половых извращений, глубокий философ и яркий оратор – именно он автор бессмертной фразы «Я есть глас вопиющего в пустыне», был убит по капризу испорченной девчонки. Казалось бы, Божья кара неизбежна, уж такой грех точно будет наказан. Ничуть не бывало, и более того: в пятнадцать лет Саломея выходит замуж за своего дядю, а после его смерти – за своего кузена по имени Аристокл Халкидский. Это очень удачный брак, поскольку муж успешно работает царем Сирии и Армении. Царица Саломея живет долго и счастливо и в семьдесят три года умирает в кругу любящей семьи. Воистину: неисповедимы пути Господни.

Я тихо подошел к Ларисе. Лица я не видел, и мне вдруг взбрело в голову, что она плачет. Глядя в затылок, нарисовал в воображении ее лицо – слегка скуластый овал – с едва уловимой татарщиной, губы – чуть приоткрытые, влажные глаза. Добавил мягкие тени: свет падает сверху справа, тень от носа, левая часть головы уходит в тень, фон за ней должен быть светлей – это округлит голову и добавит воздух в рисунок; рефлексом добавил объем, блики в глазах. Легкий блик на носу и правой скуле. Никак не мог вспомнить ее уши.

Рисуя, я выпадаю из жизни. Даже рисуя не на бумаге, а в воображении. Банальная фраза «время остановилось» объясняет мое состояние лучше всего. Когда Лариса обернулась, я не мог точно сказать, сколько времени я простоял за ее спиной – пять минут или час. Наверное, все-таки не час.

Она не плакала. Посмотрела на меня без удивления, точно знала, что я там.

– Тебе что-то нужно? – Вопрос прозвучал вполне доброжелательно, я даже растерялся.

– Ухо... – проговорил я. – Покажи мне ухо. Пожалуйста.

И снова она не удивилась, отвела рукой прядь волос, чуть наклонила голову. Ухо оказалось безупречной формы, чистый Бартоломео Венето.

– Спасибо... – пробормотал я. – Очень хорошее ухо...

Она кивнула, невинно спросила:

– Показать что-нибудь еще?

– Нет. Остальное я помню... – ляпнул я, краснея всем лицом. – Не в том смысле...

Она приложила палец к губам, строго поглядела вверх в подкупольный сумрак.

– Ты молилась? – прошептал я первое, что пришло в голову.

– А что, разве Бог есть? – так же тихо спросила она.

– Ну, ведь кто-то построил эту церковь? – уклончиво ответил я.

– Людям нравится заблуждаться. Так они это называют «заблуждаться». На самом деле они жить не могут без вранья. Врут себе, врут друг другу.

– Понятно. В Бога ты, значит, не веришь.

– А ты?

– Не знаю. Хотелось бы... У меня бабка всю религиозность отбила, таскала по церквям чуть ли не с пеленок.

Лариса улыбнулась.

– Мне казалось, должно быть наоборот. Ну, если с детства таскала, вроде как должен быть выработаться рефлекс.

– Ага, выработался, – кивнул я. – Рвотный.

На улице прогрохотал трамвай, звонко и весело, как ящик с железным хламом. Эхо прозвенело и растаяло под куполом.

– Не богохульствуй! – Лариса распахнула куртку, выставив круглую грудь с твердыми сосками, проступающими сквозь тонкий хлопок белой майки. – Ну и духота... А что ты тогда тут, в церкви...

В ее глазах мелькнула догадка, она осеклась, не договорив. Молча оглядела меня, словно оценивая еще раз.

– Ты не подумай только, – торопливо начал я. – Не подумай, что я псих какой-то, выслеживаю женщин тайком по церквям... Нет, нет, совсем не так...

Круглая старушка, в тугом платке, с коричневым рябым лицом, неслышно подкатилась к нам и что-то зло зашипела, дергая меня за рукав. Я замолчал, старушка выждала с полминуты. Отошла, пару раз грозно обернувшись.

Лариса продолжала внимательно смотреть мне в лицо, с грустью, сожалением, – так смотрят на разбитую чашку: ведь только что была как новая, а тут на тебе.

– Послушай, – быстрым шепотом начал я. – В жизни бывают моменты...

– Что ты знаешь про жизнь? – шепотом перебила она. – Тебе сколько лет?

– Двадцать один.

– Больше восемнадцати не дашь...

– Восемнадцати? Я ж на четвертом курсе...

– Да черт с ним, с твоим курсом!

Она вдруг замолчала, потом, приблизив лицо так, что сквозь свечную вонь на меня пахнуло сладкой горечью, так изнутри пахнет тисненная золотом лиловая обертка от шоколада «Золотой ярлык», медленно произнесла:

– Мы поступим вот как: я сейчас повернусь и уйду, а ты останешься здесь. Ты не пойдешь за мной. Ясно?

Я кивнул.

– И не думай обо мне. Забудь, точно меня не существует...

– Мне тебя до конца семестра рисовать, – невесело усмехнулся я. – Шестьдесят с лишним часов.

– Вот и рисуй. – Она коснулась пальцами моей щеки. – Я для тебя лишь модель. Обнаженная натура.

5

Кабинет истории искусств находился на четвертом этаже – выше был лишь чердак и бледное московское небо. По четвергам и вторникам опускались пыльные глухие шторы, включался проектор, зажигался янтарным светом экран.

К четвертому курсу мы наконец добрались до Рембрандта ван Рейна, до Вермеера Дельфтского, благослови господь его бессмертную душу, до буйного Веласкеса и божественного Караваджо. Позади остались скучная наскальная живопись, рыжая лошадь со стены пещеры Ласко и Виллендорфская Венера – пузатая статуэтка, выточенная каким-то троглодитом двадцать пять тысяч лет назад; остались позади и фаюмский портрет с одинаково глазастыми лицами, египетские сфинксы и мумии, невнятная чеканка этрусков; лихая китайская каллиграфия и усердная персидская миниатюра; бодрая мускулистая скульптура Эллады, плавно деградирующая в римский скульптурный портрет; беспомощная худосочность Средневековья, задавленного монументальной готикой; неожиданный взрыв Ренессанса с колоссами инопланетного калибра – Леонардо и Микеланджело. Место действия – Флоренция, Рим, Венеция и Милан. По одним и тем же улицам ходят Рафаэль, Джорджоне и Боттичелли, в кабаке пьет кьянти Гирландайо, на мосту караулит кого-то Вазари – какое-то невероятное столпотворение гениев.

Добрая половина картин, висящих по музеям или пылящихся в запасниках, написана на библейские сюжеты. Вариаций «Распятия Христа» существует неисчислимое множество, портретов розового младенца Иисуса с мамой еще больше; очень популярно «Бегство в Египет» и «Поклонение волхвов», живописцы Средневековья, особенно немцы, обожали «Страсти Христовы» – эти с дотошностью патологоанатомов выписывали разверстые раны и капли крови, каждая с аккуратным бликом.

С не меньшим энтузиазмом иллюстрировался и Ветхий Завет. Разумеется, парный портрет наших прародителей Адама и Евы, конечно же, «Изгнание из рая». Языческая роскошь Египта – великолепная фактура для всех сюжетов, связанных с ранним Моисеем и «казнями египетскими». Карнавальная драматичность «Пиров Валтасара» просто чудесна своим сочным мистицизмом – тронный зал, коптящие факелы, потные тела похотливых наложниц, тучный сатрап в золотой короне, невидимая рука, пишущая на стене огненный приговор тирану.

В отличие от истории Христа, аскетичной в своей логике и незамысловатой по сути, древнееврейские истории не так просты. Неискушенному зрителю не очень ясен конфликт между юной Сусанной – аппетитно голой, сидящей на краю купальни – и двумя вполне одетыми мужчинами преклонных годов. Что там происходит? Или куда спешит Юдифь, шустрая как мальчик, с кувшином вина и кривой турецкой саблей под юбкой?

Или вот еще: любопытная история приключилась с Лотом. Про Содом и Гоморру знают все; так вот, этому Лоту по неясному стечению обстоятельств посчастливилось жить именно в Содоме. Почему от там жил, почему не переехал, остается загадкой. Лот, глубоко верующий мужчина, не мог не знать об эротических пристрастиях своих соседей, слава об этих безобразиях гремела на весь Иордан и прилегающие земли. Она долетела даже до небес, оттуда на землю были командированы два ангела с целью выяснения ситуации, так сказать, на месте.

Был закат, трещали цикады, Лот сидел на крыльце и пил чай. Завидев ангелов, бредущих по вечерней улице, Лот, как добросердечный хозяин, предложил им переночевать. Ангелы долго ломались, но потом все-таки приняли приглашение. Лот напек печенья и коврижек, после уложил гостей спать.

Весть о необычных постояльцах разнеслась по городу. Еще не взошла луна, а перед домом Лота собрался уже весь Содом. Горожане требовали выдачи ангелов: эти похотливые извращенцы хотели вступить с ними в половую связь или, как жеманно говорится в Библии, «познать их». Ангелы, по достоверным источникам, – существа бесполое, они вообще, строго говоря, не люди. У них там гладкое место, как у детской куклы-голыша. Не говоря уже о том, что рядовой ангел запросто может испепелить сотни три человек за раз.

Но Лот, щепетильный хозяин, исполненный гостеприимства, не решился тревожить спящих путников. Вместо ангелов он вывел к сладострастным горожанам двоих своих дочерей. Дочери были девственницами, мелочь, не смутившая папашу: он сказал, что содомяне могут делать с ними все, что им захочется.

Горожанам такое предложение показалось оскорбительным. Секс с девственницами, за кого он нас принимает, этот старый гетеросексуал?! Поднялся шум, послышались угрозы, в окна полетели мелкие камни. Галдеж разбудил ангелов. Они, оценив обстановку, быстро ослепили бузотеров и предложили Лоту с семьей срочно покинуть город.

Уже на окраине, за городскими помойками, они услышали, как на Содом обрушилась лавина огня и горячей серы – по идее, что-то вроде напалма, которым пользовались американцы во Вьетнаме. Город сгорел дотла, на всякий случай было решено уничтожить и соседнюю Гоморру. Вопреки предупреждению ангелов, жена Лота, особа излишне любопытная, оглянулась и тут же превратилась в соляной столб. Лот с дочками продолжил путь. Приют они нашли в пещере под горой Сигор.

Жизнь в пещере оказалась скучной и монотонной. Вокруг лежала пустыня, камни да песок. Дочери, милые девчонки, опасаясь остаться в старых девах, решили напоить отца и переспать с ним. Так и поступили: в пятницу – старшая, на следующий день – младшая. Разумеется, обе забеременели и родили сыновей, от которых пошли два семитских народа, моавитяне и аммонитяне, расселившиеся впоследствии по берегу Мертвого моря.

Каждый поворот этой прекрасной истории завораживает своей неподкупной аморальностью, все участники и каждый персонаж по отдельности не могут не вызывать восхищенного изумления – Лот, ангелы, горожане, дочки. Даже дура-жена. Какие образы, какие характеры! Неудивительно, что сюжет, особенно сцена в пещере, обычно именуемая «Опьянение Лота», стал одним из самых популярных в истории западного изобразительного искусства. Не обошел его и великий Рембрандт. Полотно и сейчас украшает коллекцию Пушкинского музея в Москве.

6

Путь к трамвайной остановке лежал через худосочный парк, зажатый между кособокими гаражами и улицей Ухтомского. С утра по лавкам сидели сонные мамы с колясками, к полудню в парк выползали хмурые старухи, после трех их сменяли местные алкаши. Эта шумная, впрочем, вполне безобидная публика оккупировала парк до сумерек, точнее, до закрытия винного магазина на углу. Вкусно покуривая, они поглядывали на прохожих, добродушно цеплялись к девицам, отпуская сомнительные остроты. Тут же на лавках резали незамысловатую закуску – сыр или яблоко, откупоривали дешевое вино. Я проходил мимо, стараясь не глядеть на них, не встречаться глазами, быстрым шагом направляясь к уже видневшейся меж черных стволов лип остановке трамвая.

В тот вторник добраться до остановки мне не удалось. С предпоследней скамейки поднялся колченогий мужик пролетарского типа и торопливо пошел мне наперерез. Одновременно с другой лавки встал долговязый парень и тоже направился в мою сторону. Бледный и болезненный, он шагал размашисто и был похож на оживший циркуль.

– Голубев – ты? – Колченогий встал, перегордив мне дорогу.

Я тоже остановился, кивнул.

– Да, а что?

Долговязый с неожиданным проворством тут же хлестко саданул мне кулаком в ухо. Я, теряя равновесие, начал падать, но колченогий жестоким хуком в челюсть меня остановил.

– Вы что?! – успел крикнуть я. – Что вы делаете?

Они одновременно начали колотить меня; колченогий бил по ребрам, длинный по лицу. Я попытался поймать кулак долговязого, но остутился и упал на утрамбованную землю. Качелями взлетел парк с алкашами на скамейках, девчонка в красном берете, белый пудель, задравший ногу у липы, по серому небу махнули ветки с проклюнувшейся зеленью – весна в том году здорово запоздала.

Во рту стало солоно и горячо, кровь закапала, потекла на дорогу, среди окурков и мелкого мусора бурые пятна казались темной липкой грязью. От земли пахло сыростью и почему-то грибами. Боли я не чувствовал, в ушах стоял гулкий звон, какой бывает на крытом вокзале при отправлении поезда. Происходящее своим нелепым садизмом напоминало кошмар, бессмысленный жестокий сон.

Я встал на карачки, хотел подняться. Вселенную продолжало немилосердно штормить, я завалился на бок и прямо перед своим носом увидел пару ботинок хорошей рыжей кожи и явно не пролетарского фасона. Я посмотрел вверх – события приобрели логику: надо мной, засунув ладони в карманы тугих джинсов, стоял Малиновский. Не вынимая сигареты изо рта, он пару раз лениво и молча пнул меня в бок носком своего красивого ботинка.

Когда я дополз до ближайшей скамейки, ни Малиновского, ни типов, избивших меня, уже не было. Сердобольные алкаши угостили меня портвейном. Один, без переднего зуба, но в офицерской фуражке, авторитетно уверял, что били меня не местные, точно этот факт имел большое значение. Портвейн слегка помог, одновременно пришла боль: ныли ребра, в ухе продолжало что-то звенеть, левая половина лица налилась пульсирующим жаром. Руки были перепачканы засохшей кровью и землей, лицо, очевидно, выглядело не лучше.

– Рожа – на море и обратно! – весело хлопнул меня по плечу беззубый офицер. – До первого мусора.

Беззубый был прав, выходить в таком виде в город не стоило. Тем более после второго стакана портвейна, который я допивал. Институт тоже отпадал. Я вспомнил про кладбище – там есть колонки, из которых посетители набирают воду в лейки и ведра для полива могильной флоры. Я поблагодарил симпатичных алкашей, беззубый лихо козырнул мне, добавив, что я держался молодцом. Я не очень понял, что он имел в виду, но, поблагодарив еще раз, направился в сторону кладбища.

У кованых ворот кладбища сидела та же старуха с сиротскими букетами в пузатой хозяйственной сумке. Она, жуя губами, с жадным любопытством оглядела меня, я отвернулся, наклонив голову, прибавил шагу и почти налетел на Ларису.

7

Классический сюжет эпохи заката феодализма: Прекрасная Дама и раненый рыцарь у родника. Тристан и Изольда, Ланселот и Гвиневра. Кстати, порочная страсть к супруге короля Артура, сгубившая Ланселота, на самом деле явилась следствием колдовских манипуляций самой Гвиневры, именно она опоила неискушенного рыцаря волшебным снадобьем, составленным по рецепту коварного Мерлина: кровь змеи, толченая печень нетопыря, дробленый зуб дракона, слеза единорога, щепотка сухой лаванды (последний ингредиент – так, для запаха).

Челюсть распухла, адски ныли ребра, левая бровь была рассечена, но душа моя пела. Лариса, привстав на цыпочки, бережно стирала платком засохшую кровь с моей щеки. Касалась нежно и аккуратно, точно я был отлит из хрупкого венецианского стекла. Наверху тре-

щали весенние птицы. Из латунного крана лилась крученая хрустальная спираль ледяной воды. Лариса выжимала платок, розовые струи стекали по желобу. Лариса, прикусив кончик языка, снова наклонялась ко мне. Она ни о чем не расспрашивала, не ужасалась, в ее кротком милосердии было что-то почти монашеское.

– А что ты делала на кладбище? – Опухшая челюсть придала моей фразе неожиданно французский выговор.

– На кладбище?.. – Она на секунду задумалась. – Кладбище похоже на зазеркалье. Кладбище и церковь. Там можно спрятаться. Вроде сказочного убежища, понимаешь? Вокруг город, люди, шум, а ты переступил порог, и все... Тебя уже нет.

Она огляделась. Низкое солнце выскользнуло и загло ослепительным ртутным светом край мохнатого облака. Тут же ожили тени и солнечные пятна, веселая пестрота вспыхнула на мраморных плитах, желтый песок дорожек покрылся затейливым кружевом. Кресты засверкали кованым серебром, на шпиле обелиска наполеоновским гвардейцам, точно бриллиант, засиял солнечный зайчик.

– А от кого ты прячешься? – спросил я.

Лариса подставила платок под струю, прополоскала, скомкала и с силой сжала.

– Лучше расскажи мне о себе.

– Будет скучно...

– Ничего. Пусть. Скука – не самая страшная вещь на свете.

Мои родители второй год трубили в Танзании, отец работал там при нашем посольстве заместителем торгпреда. Конечно, Дар-эс-Салам – это вам не Лондон и уж подавно не Нью-Йорк, но все-таки и не Улан-Батор, где батя отмотал полтора срока до Африки. Из южного окна отцовского кабинета была видна заснеженная макушка Килиманджаро, а из восточного – железные клювы порталных кранов и бескрайняя синь Индийского океана. Чуть влажный, но в целом чудесный климат, особенно приятный, если в ноябре вспомнить снежную кашу московских мостовых. Плюс ежемесячная выписка по каталогам «Неккерман» и «Квель», не говоря уже о чеках серии «д», которые капали на наш счет. Благодаря связям с дружественной Танзанией в отцовском гараже дремала новенькая белая «Волга». У меня появились небесно-голубые джинсы. По квартире расплзлись резные фигуры из черного дерева, прибывавшие в посылках с оказией. На багровом ковре нашей гостиной к скрещенным дедовым парадным саблям присоседились африканские ритуальные маски. Летом я щеголял в свободных хлопковых рубашках с орнаментом из крокодилов и черепах.

– Да ты, оказывается, мажор, – полушутя констатировала Лариса.

– Нет. Я – ренегат и отщепенец. И закончу под мостом в компании алкоголиков и проституток. По крайней мере, так считает мой папаша.

Лариса жестом святой Вероники расправила влажный платок с бледными розовыми пятнами. Я дотянулся и закрутил кран. Сразу стало тихо, лишь где-то вдаль, в соседней вселенной, натужным шмелем зудел город.

– Он хотел меня воткнуть в МГИМО, на экономический...

– Продолжить отцовский подвиг?

– Ага. Он уже со всеми договорился, всех обзвонил, представляешь? Я там по списку замминистра Внешторга шел...

– Высокий класс.

Мы остановились у заброшенной могилы некоего Лутца Петра Леонардовича, обосновавшегося здесь за два года до моего появления на свет. С керамического овального фото на нас смотрел демонического вида господин с нерусским лицом.

– Он сам мне рассказывает, как они с матерью, чтобы поговорить, уплывают к буйкам в океане. Как посольские друг на друга стучат. Все – шоферы, уборщицы, секретарши. Он сам каждую неделю должен донос писать на своих же сотрудников. Живут там как пауки в банке.

Поодиночке в город не выпускают, только группой, и непременно с гэбэшником – боятся, что сбегут.

– В Африку?

– Ну зачем? Там же есть другие посольства.

– А ты бы сбежал? – Лариса серьезно посмотрела на меня.

– Да я, в общем-то, уже... Дело же не в географии, не в границах. Все дело в тебе самом.

8

Было три часа ночи – наступал час быка. Свет я не зажигал. За окном мерцала сонная Москва, внизу, по набережной, изредка проезжали автомобили. Шуршание шин напоминало неспешный прибой. Я стоял босиком на кухонном подоконнике и курил в распахнутую форточку. Пятая или шестая за ночь, да и какая разница? – я с силой втягивал дым, задерживал дыхание, пьяная муть медленно накатывала, обволакивала мозг, делая ночь еще восхитительней, еще безумней.

Точно сокровища, перебирал я события минувшего дня. Как скупец, алчно вглядывающийся в каждую грань бесценного бриллианта, пытался припомнить я каждое слово, воскресить в памяти каждый ее жест. Когда мы прощались у метро, она действительно задержала свою ладонь в моей? И щеки ее чуть вспыхнули? Или это был отсвет от проклятой буквы «М» над входом? Да или нет? Ведь уже смеркалось, и как тут можно что-то толком разглядеть... Как можно быть уверенным? Или мне все вообще показалось...

В чернильной топи Москвы-реки отражались маслянистые зигзаги фонарей, в доме на том берегу погасло еще одно окно. Осталось всего два. Всего два на всю темную, точно океанский утес, угольную громаду. По Краснохолмскому мосту, набирая скорость, словно собираясь взлететь, промчался пустой троллейбус. От этого звука и от теплого канифольного света внутри салона меня наполнила тихая радость: да, можно быть уверенным. Да, да.

Я представил ее спящей, ощутил запах ее тела – сначала смутно, потом сильнее, точнее. Так пахнет высыхающая роса на лесной поляне где растет мелкая сладкая земляника – запах лета, запах утра, запах воли. Я помнил на зубок каждый сантиметр ее божественного тела, каждый упоительный изгиб, все цветовые оттенки ее кожи – плавные переходы из нежнейше-персикового в восхитительно фарфоровый. Холмы и долины, волнующую и томительную географию безукоризненной анатомии – от миниатюрного мизинца ноги до своенравного локона на макушке. Похоти не было и в помине, моя душа изнывала от целомудренного обожания.

Щеки мои горели, сердце ухало на всю кухню, я жадно вдыхал горький дым, от которого все вокруг слегка покачивалось: будто и окно, и кухня, и зыбкий ночной город снялись с якоря и отправились в какое-то неведомое странствие. Предчувствие путешествия охватило меня, наивное детское чувство, какое бывает в первые минуты после отправления поезда – убегающий перрон, провожающие, носильщики, фонари, фонари, фонари...

В сонной истоме закрыв глаза, я попытался ощутить приближение этого нового мира, мира восхитительного, таинственного и пугающего. От мрамора подоконника пятки стали ледяными, по коже заползали мурашки. Прямо здесь и сейчас заканчивалось мое детство – да, именно на этой кухне и именно этой ночью! – бесповоротно завершался испытательный этап бытия, когда за ошибки и глупости наказывали лишением мороженого или двойкой по поведению. Начиналась взрослая, настоящая жизнь. Все мое существо, – наверное, это и есть душа, рвалось туда, в этот взрослый мир. О, пьянящий мир страшных тайн, роковых заблуждений, смертельных страстей! Вперед! Смелей туда! Он чудился мне горящим витражным окном готического собора в час заката, когда пылающие стекла до боли в глазах ослепляют неземной яркостью, невозможностью цвета, божественным сочетанием красок.

9

Беда случилась в понедельник. Лариса не пришла, она исчезла.

Илья Викентьич, мятый, с невнятным утренним лицом, рассеянно сообщил об этом шершавым голосом. Мол, звоним, звоним, никто не подходит. Группа за моей спиной загалдела, я продолжал точить карандаш, уткнувшись взглядом в пустой подиум со стулом, на котором осталась лежать вишневая подушка незабвенной Ангелины Павловны. Крашенный в мышинный цвет подиум, облезлый венский стул, подушка – эшафот, плаха, кровь. Кровь, плаха, эшафот... Сердце остановилось и полетело куда-то в бездну, вселенная накренилась, потолок и пол начали пьяно заваливаться, за ними вбок поползло и окно с ярко-зеленой макушкой недавно оперившегося тополя.

Кто-то тормозил меня сзади, о чем-то спрашивал. Я вскочил и не оборачиваясь вылетел из аудитории. Чуть не сшиб какую-то девицу с этюдником, бегом понесся по коридору. В запаснике, узкой кладовке, где мы оставляли сохнуть холсты, я закрыл лицо руками. Ладони тряслись, они были точно чужие, такие влажные, такие холодные. Господи, как страшно, как больно! Она погибла – несомненно, умерла... Ее сбила машина – да, да, она перебежала через улицу... Или нет, в метро... А может, вчера ночью... ночью, возвращаясь через парк...

Фантазия – будь она проклята, бесовский дар! – тут же выплеснула в мой череп адский kaleidoscope зловещих персонажей, босховская мразь побледнела бы в сравнении, убийцы, насильники, маньяки ошетилили жала стилетов, брызнула ледяная сталь бритв, вспыхнули, отточенные до звона, лезвия топоров. Хлынула кровь, ее кровь! – на грязный кафель темной лестничной клетки, на убитую глину ночной детской площадки, на вытопанную траву чахлого парка.

Пустырь, черно-белый от бледного света сизой луны, лопухи, засохшие сорняки. Туман ползет, путается в хворых кустах, пробивается через репейник. Среди битых бутылок, окурков и бумажного мусора что-то белеет. Я не хочу этого видеть, я до боли зажмуриваю глаза, закрываю их ладонями. Но вижу все равно...

– Голубев! – Кто-то распахнул дверь в запасник. – Ты тут?

Илья Викентьич. Он мял в пальцах сигарету, потом сунул ее в рот.

– Здоров? – спросил он. – Все в порядке?

– Здоров. – Я повернулся боком, но он все равно заметил.

– Ох, хорош... – Он щелкнул зажигалкой, с удовольствием затянулся. – Малиновский?

– С чего вы взяли?

– Дедукция. На той неделе у него вся рожа разбита, сегодня ты таким красавцем... Кого не поделили? Строеву? Или Василевскую?

Я фыркнул.

– Ладно. – Он снисходительно протянул мне пачку. – Кури...

Я кивнул. Мы стояли и молча курили. В косом свете из грязного окна синеватый дым закручивался в затейливые узоры, струился как волшебный туман. Мы оба, Викентьич, явно страдавший похмельем, и я, замороженно наблюдали за тягучими кольцами и лентами, за плавно раскрывающимися цветами, за плывущими драконами и ленивыми нимфами. Это напоминало замедленное кино.

– Ты диплом у меня собираешься защищать? – вяло спросил Викентьич. – Не передумал?

Я отрицательно помотал головой.

– По Микеланджело. Думаю серию литографий сделать... Пять, шесть...

– Ты там камни заранее отбери, – он стряхнул пепел указательным пальцем. – В мастерской...

Я кивнул.

– Знаешь, – чуть оживился он, – Рафаэль и Браманте соперничали с Микеланджело. Это они уговорили папу Юлия поручить ему заказ на роспись потолка Сикстинской капеллы. Микеланджело считался скульптором и до этого не писал фресок. Ребята были уверены, что он облагается...

Викентьич затаился и выпустил изящное кольцо.

– Облагается... – повторил он, любуясь кольцом. – Микеланджело один, без подмастерьев, расписал потолок. Один! Нешумов был там, в Риме, говорит, впечатление убийственное... Потолок размером с футбольное поле, его в одиночку просто покрасить непросто...

– Илья Викентьич! – перебил его я. – Дайте мне телефон натурщицы. Ларисы.

В «Жизнеописании Микеланджело Буонаротти, флорентийца, живописца, скульптора и архитектора» Джордже Вазари говорит о Сикстинской капелле: «В этой композиции он не пользовался правилами перспективы для сокращения фигур, и в ней нет единой точки зрения, но он шел путем подчинения скорее композиции фигурам, чем фигур композиции, довольствуясь тем, что выполнял и обнаженных и одетых с таким совершенством рисунка, что произведения столь превосходного никто больше не сделал и не сделает и едва ли при всех стараниях возможно повторить сделанное. Творение это поистине служило и поистине служит светочем нашему искусству и принесло искусству живописи столько помощи и света, что смогло осветить весь мир, на протяжении стольких столетий пребывавший во тьме».

10

К телефону почти сразу подошел мрачный мужик.

– Нет ее, – рыкнул он и бросил трубку.

Я выждал час, перезвонил. Мрачный был тут как тут; казалось, он дежурит у телефона. И снова я не успел ничего спросить, в трубке уже ныли короткие гудки. Я выругался, засек время. Встал, зачем-то пошел на кухню. Вернулся в гостиную. С ненавистью посмотрел на телефон. Кто этот мужик? Отец? Брат, сосед? А вдруг муж? Муж! Точно, муж! – тогда все становится логичным, и ее слова, и... Да какой к чертям собачьим муж, какой нормальный муж, я вас спрашиваю, отправит свою двадцатилетнюю жену позировать голой?! Нет, не муж. Наверное, сосед. Точно, сосед.

Мое воображение тут же нарисовало небритое мордатое существо в натальной майке, руки-клевши, красные, как морковь, на плече выколот синий крест. Да, сосед, не муж.

Я поднял трубку, медленно набрал номер. Мрачный, похоже, меня ждал. Я не успел произнести ни звука.

– Слушай внимательно! – проговорил он негромко. – Если ты еще раз позвонишь ей, я приеду на Котельническую и отобью тебе почки.

Я вздрогнул, прижал трубку к груди, быстро нажал на рычаг.

Откуда он знает мой адрес?! Откуда?! Кто он? Ревнивый муж-уголовник? Чокнутый папаша? Кто? Ну уж точно не сосед!

Внезапно стальная дверь, которую родители поставили перед самой Африкой, показалась не надежной картона, стены – тоньше бумаги, квартира в сталинской высотке с кодовым замком и консержжкой в вестибюле – беззащитней одинокой хижины в дремучем лесу. Откуда он знает, где я живу? Кто он?

На кухне я до упора отвернул кран, залез под струю, напился. В коридоре опрокинул стул и с лету ударился коленом в подзеркальник (с полки посыпались африканские резные уроды). Воя от боли, допрыгал до гостиной, зачем-то снял со стены дедову саблю. Несколько раз со свистом рубанул воздух.

Нужно было взять себя в руки. Ключ к отцовскому бару я подобрал через неделю после их отъезда. Вытащив из темного чрева початую бутылку коньяка, я вытащил пробку и сделал большой глоток. Горькая гадость обожгла рот и горло.

Убрал бутылку, закрыл бар. Алкоголь неожиданно помог – карусель в моей голове постепенно замедлила бег. Я пару раз глубоко вдохнул – так, уже лучше. Что дальше? Повесить саблю на место. Повесил. Главное – успокоиться, главное – все обдумать и принять правильное решение.

Быстро прошелся по комнате взад и вперед. Главное – взять себя в руки. Остановился у окна, стиснул руками край мраморного подоконника. Багровое солнце застряло между башнями Калининского, небо, матовое, точно пыльное, быстро темнело. По сиреневой воде Москвы-реки скользил речной трамвай, на верхней палубе среди серых силуэтов краснела чья-то легкомысленная широкополая шляпа – должно быть, иностранка, наша женщина такую на себя ни за что не напялит.

Что за бред? Чего я испугался? Почки он отобьет... Животное. С другой стороны, выходит, что Лариса жива: кем бы ни был тот мрачный тип – ни отец, ни муж, ни даже сосед, – случись с ней беда, так разговаривать не стал бы. Это определено, и из этого следует...

Додумать, что там из этого следует, я не успел – кто-то позвонил в дверь. От неожиданности я подпрыгнул, эхо еще звенело по квартире, я в два прыжка очутился в коридоре и на цыпочках пошел к двери. Старый дубовый паркет предательски постанывал. Руки тряслись, обрывки мыслей скакали, обгоняя друг друга: в прихожей не горит свет, я смогу незаметно посмотреть в «глазок»... как он сумел пробраться мимо консьержки? – сегодня дежурит эта гримза в берете... как ее? Клавдия Николаевна?... мимо этой даже мышь...

Звонок загремел снова. И снова.

Наш древний звонок, его поставили еще при деде, громышал будь здоров, никаких тебе мещанских соловьиных трелей или филистерских бубенцов – честный и требовательный сигнал времен позднего сталинизма: звонят – откройте дверь, откройте по-хорошему.

Я бесшумно распластался по двери, прижался ухом к ледяной стали. Тихо, ни звука. Осторожно посмотрел в «глазок». На лестничной клетке не было никого. Выждал минуты три, никто так и не появился. Крадучись подобрался к домофону.

– Але, – вполголоса проговорил я, прикрыв рот ладошкой. – Из квартиры Голубевых беспокоят.

Клавдия в ответ что-то прокричала.

– К нам никто не поднимался? – осторожно поинтересовался я.

Никто не поднимался, никто не интересовался, разумеется, она бы тут же позвонила. Разумеется!

– Разумеется! – зло передразнил я домофон, повесив трубку.

На кухне я вытащил из ящика здоровенный тесак с широким лезвием, отец этим ножом обычно разделывал новогоднего гуся. Потом достал мясницкий топорик на деревянной ручке, похожий на индейский томагавк. Добавил к арсеналу средних размеров ладный нож, которым мать резала овощи. Увидел свое отражение в окне, с грохотом сгреб все холодное оружие обратно в ящик.

– Бред, бред, полный бред...

С лестничной клетки донесся шум, я тут же очутился у двери и прильнул к «глазку». В выпуклой подслеповатой вселенной нашего коридора Наташка Корнеева из восьмидесят пятой возвращалась домой со своим кобелем. Больше никого я не увидел. Соседка возилась с замком, сенбернар ростом с телянка толкал хозяйку в бок здоровенной головой.

Я вернулся на кухню, зачем-то распахнул холодильник, пустые полки были неприветливо залиты сизым светом. От души хрястнув дверью, начал ходить из угла в угол. Надо успокоиться и все трезво обдумать. Так, выходит, Лариса жива, выходит, что она не угодила под машину

и ее не зарезал серийный убийца. Тогда где она? Неожиданная догадка осенила меня, я восторженно прошептал:

– В зазеркалье!

Мне вспомнился наш разговор на Лефортовском кладбище про сказочное убежище, про место, где можно спрятаться. Про церкви и кладбища.

– Господи, как же все просто! Зазеркалье! Как же я не догадался сразу!

Звонко хлопнув в ладоши, я быстро вернулся в гостиную, вытащил из бара коньяк. Теперь мне стало казаться, что я непременно разыщу Ларису, стоит мне выйти на улицу. Я отпил еще прямо из горлышка. Непременно найду! Сунул бутылку обратно в бар, выскочил в прихожую, на ходу сорвал с вешалки куртку... Стоп! А как же мрачный муж-отец Отобью-тебепочки? Дьявол! Вдруг он и вправду караулит за дверью или на лестнице? Сжимает в руке каскет или финку с наборной рукояткой, какие делают в тюрьмах?

Решение оказалось простым и элегантным. Я снял трубку и набрал номер – мрачный был на посту. Мысленно пожелав ему спокойной ночи, я нажал отбой и вышел из квартиры.

11

Адреналин и алкоголь – дивная смесь, благослови господь провинцию Коньяк и бессмертную душу императора Бонапарта, стрелой домчали меня до Зарядья. Голова кружилась от бега, от пыльного встречного ветра. Фонари вдоль реки моргнули и зажглись, сумерки тут же посинели и сгустились. В кинотеатре закончился фильм, неожиданно возбужденный люд, что-то азартно обсуждая, начал вытекать на набережную.

В «Красном зале» шел «Тегеран-43», на афише местный художник очень похоже изобразил актера Костоловского в шляпе и с пистолетом. Я очутился в людском водовороте: мелькали лица, долетали обрывки фраз, кто-то высоким голосом выкрикивал восторженные междометия, тетка с желтыми волосами вытирала красные глаза скомканным платком. Очевидно, кино было стоящим.

Оставив позади толпу киноманов, я быстрым шагом пошел вдоль Кремлевской стены. Тут было безлюдно, лишь у Водовзводной башни пара чекистов не очень убедительно изображала праздных пешеходов. У Александровского сада я сбавил темп – до меня вдруг дошла бессмысленность этой гонки. Куда я несусь? С другой стороны, мне нужно было выпустить пар – дома сидеть я не мог, так что цели у гонки не было, важен был сам процесс.

Пройдя через распахнутые кованые ворота с золочеными пиками, я свернул направо, к Историческому музею. По крутой брусчатке вышел на Красную площадь. Площадь была залита слепящим светом ртутных ламп, точно там собирались что-то снимать. На фасаде ГУМа висели раскрашенные фанерные ордена циклопических размеров и гигантский лозунг «Решения съезда – в жизнь!». У мавзолея, перед железным турникетом, толпились зеваки. Эти ждали смены караула. Стрелка на башенных часах подбиралась к девяти.

Давешняя уверенность в том, что я в два счета найду Ларису, выветрилась вместе с коньячной эйфорией и сменилась досадой.

– Вот идиот... – тихо выругал я себя и, сунув кулаки в карманы, зашагал в сторону Василия Блаженного. – Редкостный кретин...

Ехать на Немецкое кладбище было поздно, церковь тамошняя тоже наверняка уже закрыта, да и кто тебе сказал, что Лариса непременно в Лефортово? Ее телефон начинался на 255, это где-то в районе Пресни, там тоже есть и церкви, и кладбища. Надо позвонить! Да, надо еще раз позвонить. Автоматы, кажется, есть в ГУМе...

В это время над площадью раздалась мерная поступь караула, упругая, почти резиновая, как они там говорят, «часовые чеканят шаг», башенные куранты ожили и разразились оглушительным перезвоном. Я бегом свернул в проезд Сапунова. Как я и опасался, ГУМ уже закрылся.

У телефона в переходе была оторвана трубка. Рядом с западным входом в «Россию» висело несколько аппаратов. Первый тут же сожрал мои две копейки, едва я начал набирать номер. Я двинул в железную коробку кулаком, вытащил из кармана мелочь. Нашел гривенник, перешел к следующему телефону.

Долго не соединялось, внутри что-то потрескивало, потом потекли длинные гудки. От трубки воняло окурками, сигналы продолжали уныло плыть в безответной пустоте. Я нажал на рычаг, набрал номер еще раз, тщательно прокручивая диск на каждой цифре. Потрескивание, потом те же гудки. Телефон либо отключили, либо там действительно никого нет.

Мимо прошагали веселые, в меру пьяные немцы, человек шесть, судя по одежде, наши, гэдээровцы. Компания, балагурия, замешкалась у входа, я пристроился в кильватер, а когда проходили мимо могучего швейцара в малиновой ливрее, начал расспрашивать их по-немецки как им понравилась наша столица. Швейцар цепким взглядом скользнул по мне, я же, прикрыв синяк на челюсти воротником джинсовой куртки, беззаботно повторял, обращаясь к рыжему немецкому туристу:

– Натюрлих! Кремлин ист вундершейн!

В нижнем баре я заказал водки с апельсиновым соком, потом просто водки. Настроение неуклонно ухудшалось пропорционально выпитому. Из динамиков эмансипированные шведки из «АББЫ» со знанием дела уверяли, что победителю достанется все. С этим трудно было спорить.

Время приближалось к одиннадцати. Сидя за стойкой, я с растущим отвращением разглядывал праздную иностранную пьянь: справа с равными промежутками, по которым можно было отмерять время, на меня наваливался совершенно остекленевший финн; до этого он мешал нарзан пополам с «пшеничной» и хлопал этот коктейль залпом. Слева методично наливался пивом голландец-альбинос; с ним я перекинулся парой английских фраз и угостил сигаретой. Два американца, мордатых и румяных, фермерского вида, простодушно кадрили томную проститутку, изображавшую из себя парижанку. Другая девица, блондинка попроще, сидела в углу и с детской увлеченностью сосала через соломинку из высокого стакана какую-то розовую бурду. Ее сосед, миловидный фарцовщик в шикарной куртке из черной лайки, аппетитно покуривал трубку и лениво рассматривал посетителей. Блондинка, почувствовав мой взгляд, повернулась ко мне и с насмешливым вызовом уставилась мне в глаза.

А может, прав Малиновский? И насчет татуировки, и банды Костюковича? Может, она тоже... как вот эта... Думая о Ларисе, я даже мысленно не смог произнести слово «шлюха». Я вспомнил лицо Малиновского, его влажные красные губы, как он, произнося «у» складывает их уточкой, точно собирается кого-то поцеловать.

– Вот ведь сволочь... – пробормотал я и махом допил водку.

Неожиданно атмосфера в баре изменилась, точно рябь по воде пробежала, – блондинка, отставив стакан, застыла с прямой спиной, ее красавец-сосед, скрестив на груди руки, сделал вид, что задремал. Фальшивая парижанка, кося глазом, начала нервно подкрашивать губы.

Альбинос-голландец ткнул меня локтем:

– Чувак! Атас цинкует, – на идеально русском с питерским выговором быстро прошептал он. – Контора на подходе, вязать будут.

У дверей бара возникли два мужика в неважных коричневых костюмах. Третий, тоже в костюме, только сером, рассеянно поглядывая по сторонам, словно искал знакомых. Потирая ладони, серый неспешно направился к стойке. Проходя мимо блондинки, он задержался и что-то ей сказал. Блондинка принялась рыться в сумке, ее сосед продолжал вполне убедительно изображать задремавшего иностранца. Девица суетливо вытряхивала из сумки на стол мелкую дребедень, потом достала паспорт. Серый без интереса пролистал и сунул паспорт в боковой карман. Наклонился и что-то сказал блондинке, кивнув в сторону двери.

Паспорта у меня не было, не было и студенческого. Мне светила ночевка в ментовке, а может, и в вытрезвителе. Это как минимум. Про максимум, включавший в себя телегу на факультет и еще одну – в министерство отцу, думать не хотелось. Плюс постанова на учет по подозрению в спекуляции и незаконных валютных операциях с иностранцами.

Я лениво сполз с барного табурета, рассеянно огляделся. Раскачиваясь и нарочито медленно прошел вдоль стойки. Справа была подсобка, заставленная коробками, за ней – узкий коридор и две двери в туалет. В конце коридора оказалась еще одна дверь с табличкой «Службное помещение. Посторонним вход строго воспрещен!». Я подбежал к двери, дернул ручку, дернул еще раз – разумеется, закрыто.

В баре зычно заголосила Пугачева. Выбора у меня не оставалось. Скорбно вздохнув, я разбежался и от души саданул ногой в дверь. Филенка треснула пополам, замок хрустнул, и дверь распахнулась. Тускло освещенный бетонный коридор уходил в перспективу.

Низкий потолок, шершавые беленые стены. Пыльные дохлые лампы в железных сетках, похожих на клетки для мелких птиц. Пол в коридоре шел под уклон, ноги бодро бежали сами собой. Я промчался мимо одной двери без опознавательных знаков, потом мимо другой, с выбитым по трафарету черепом и скрещенными костями. Узкая лестница в два пролета вывела меня в подвал, похожий на подземный гараж. На стене метровыми буквами было выведено «Не курить!». Здесь было значительно холодней, воняло тухлой водой и известкой. Я побежал дальше. Неожиданно сбоку выскочила маленькая злобная тетка в синем ватнике и визгливо заорала:

– Опять Райка, манда кобылья, своих кобелей в рефрижераторную пушает!

Я отскочил, на бегу извинился за себя и Райку. Тетка захохотала мне вслед.

Снова лестница, теперь наверх. Снова коридор. В конце коридора, квадратная комната с бурыми потеками на стене. Под ногами что-то мерзко захрустело – это была яичная скорлупа. С потолка свешивались цепи с крюками. Комната напоминала пыточную камеру: там пахло ржавым железом, а в углу валялось подозрительное тряпье и какие-то овчины. Я выскочил обратно и тут же наткнулся на двух работяг в засаленных до блеска комбинезонах.

– Ребята! – радостно улыбаясь, взмолился я. – Выручайте! Я от Райки, из рефрижераторной. Заплутал маленько!

Ребята мне не удивились, оба были пьяны в лоск.

– Бывает, – лаконично молвил один, неопределенно мотнул головой в сторону. – Пошли...

12

На волю мне удалось выбраться где-то в Китай-городе. Наполовину обглоданная луна висела над неподвижной рекой, злосчастная «Россия» бледным утесом светила за моей спиной метрах в ста. После подземелий и лабиринтов московский ночной воздух казался амброзией. Ночь была свежей и звонкой, как после мимолетной летней грозы. Гранит парапета и камни мостовой сияли черным лаком. Похоже, недавно закончился дождь или только что прошли ночные поливальные машины.

Я пересек пустую площадь, сияющую мокрым асфальтом, светофоры на перекрестках моргали желтым. Город спал. Над площадью висела жутковатая тишина, метро уже закрылось, вход в чахлый сквер казался началом дремучей чащи. Я пошел в сторону Солянки. Вполнакала горели буквы на вывеске магазина «Ткани», в витрине булочной, убранной украинскими рушниками, таинственно мерцали лакированные муляжи баранок и кренделей.

Моя голова была пуста, эйфория от чудесного спасения почти выветрилась. Остались лишь усталость и, растекающееся по всему телу, точно яд, похмелье. Вместе с похмельем в душу вползала тоска; я готов был поклясться, что мне никогда не было так одиноко. Поначалу

я даже упивался этой меланхолией, как гурман, смакуя горькую отраву своей печали. Потом мне стало по-настоящему жутко.

Надо мной висела пустая черная бездна, холодная и безразличная, мне казалось, я ощущал равнодушное движение мертвой вселенной. Мурашки поползли по спине, меня передернуло от озноба. Воткнув кулаки в карманы куртки, я прибавил шаг. До дома, вниз по Солянке, было минут десять. Я шагал по самой середине мостовой, по белой разделительной полосе. В сказке эта белая лента непременно вела к какой-то цели, в жизни она запросто могла оказаться петлей Мебиуса. Без особого труда я мог представить себя последним из людей, оставшихся на этой планете.

Наш подъезд, украшенный без меры каменной резьбой, сиротливо освещала одна хилая лампа, помпезные фонари на литых чугунных ногах не включались уже несколько лет. Эклектичность сталинского ампира всегда наводила на меня тоску, я представлял душевные муки честного архитектора, который по указке тирана вынужден был лепить этих кошмарных монстров, сваливая в кучу капризное барокко, вычурный наполеоновский ампир, скуку позднего классицизма и ломкую геометрию ар-деко.

После полуночи консьержка запирала дверь в подъезд. Нащупав нужный ключ в кармане, я уже поднимался по гранитным ступеням.

– Эй! – донеслось до меня сзади.

Я обернулся. С одной из скамеек, которые стояли вдоль клумб, поднялся силуэт, едва различимый в темноте.

– Лариса... – восхищенно выдохнул я.

Не знаю, как убедительно описать свои чувства, – спросите у святой Терезы, у Иоанна с острова Патмос или у тех андалузских подростков, которым явилась Дева Мария. Восторг – да нет, не восторг, восторг – слишком энергичное и беспокойное слово, скорее какая-то благодать снизошла на меня. Именно благодать. Вселенная тихо качнулась и пришла в состояние абсолютной гармонии. Точно небесный часовщик отвинтил крышку и показал мне чудесный механизм божественных часов. И механизм тот был прекрасен в своем совершенстве.

Жизнь, всего минуту назад казавшаяся мне чередой нелепых и злых случайностей, внезапно не просто обрела смысл – я ощутил доброту и нежность мудрого мира. Я увидел волшебную связь, уловил сладостную мелодию бытия. В безмолвии пустынных улиц, в горьковатом запахе мокрого асфальта, в хворой подслеповатой луне, даже в похмельной головной боли – из этих незатейливых ног складывался тожественный гимн любви и добра. Торжественный гимн жизни.

Циник и мизантроп, сидевший во мне минуту назад, назвал бы эти изливания телячьими нежностями и пошлятиной. И он отчасти был бы прав. Но его тут не было, его, циника и мизантропа, уже и след простыл.

13

Мы сидели в гостиной на ковре и пили коньяк прямо из горлышка, передавая бутылку друг другу. Моргая, догорали свечи. Это были мамшины праздничные свечи, выписанные по немецкому каталогу за сумасшедшие деньги, я знал, за них мне, скорее всего, оторвут голову, но мне было абсолютно наплевать. Свечи упоительно пахли карамельными конфетами. По сумрачному потолку блуждали дивные огни – перетекая из оранжевого в лимонный, из алого в багровый, они напоминали ожившую акварель.

– А кто такая Агнесса Васильевна? – тихо спросила Лариса.

Я удивленно взглянул на нее. Странно, что этой ночью у меня еще осталась способность чему-то удивляться. Лариса уютно зевнула.

– Тетка та, охранница в берете, сказала: «Слава богу, Агнесса Васильевна не дожила».

– Это она про бабушку мою. Они тут все считают меня вконец пропавшим, – усмехнулся я. – Вполне возможно, они не так далеки от истины.

Пару раз я хотел признаться, что весь вечер названивал ей, но впускать сюда того грубого мерзавца из телефона казалось выше моих сил. Еще мне казалось, что за пределами нашей сумрачной карамельной вселенной была пустота. Безжизненный вакуум. Там чернел необитаемый космос, мы были единственными обитателями мироздания.

Я много говорил, с упоением пересказывал истории Джорджо Вазари, Лариса слушала с тихой улыбкой, тщательно разглядывая мое лицо. У нее были внимательные рысьи глаза с теплыми янтарными искрами на самом дне. Я не пытался произвести на нее впечатление, эта стадия давно осталась позади. Подобно могучей волне, что одним махом глотает океанские корабли, на меня накатывало что-то огромное и неизбежное. Наверное, примерно так люди сходят с ума.

– Ему было всего двадцать четыре, представляешь, двадцать четыре?! Мне уже двадцать один, и я не то что «Пьету», я вообще ничего стоящего не создал! – Дотянувшись до бутылки, я сделал глоток. – ...И когда ее поставили, он приходил послушать, что говорят люди. Какой-то приезжий из Милана утверждал, что скульптор – его земляк, Франческо Гоббо. Другой, тосканец, со знанием дела приписывал авторство Донателло. Тогда ночью он тайно пробрался в гробницу и высек на ленте, опоясывающей тунику мадонны, «Микеланджело Буонарроти, скульптор из Флоренции, создал». Это единственная скульптура, которую он подписал... Сейчас, погоди...

Я быстро поднялся, вытащил с полки альбом.

– Гляди! – раскрыв, я протянул альбом Ларисе. – Вот она...

Лариса взяла книгу, наклонилась к свету.

– Она сейчас в Ватикане. В Риме. – Я опустился рядом на колени. – Господи, я бы все отдал, чтобы только...

– Надо было папу-маму слушать, – насмешливо произнесла Лариса. – Стал бы дипломатом каким-нибудь... А так дальше Болгарии при всем желании...

Она не договорила, склонилась над книгой, по-детски водя указательным пальцем по странице, точно пытаясь потрогать изображение. Я тоже замолчал, хотя меня подмывало рассказать, что скульптура была заказана для гробницы кардинала Жана Билэра, а в собор Святого Петра ее перевезли лишь через сто лет. И что во время транспортировки эти растяпы отбили указательный палец Мадонны, а еще через двести лет венгр-психопат геологическим молотком пытался расколотить статую. До этого венгр работал геологом и считал себя реинкарнацией Иисуса Христа. Скульптуру отреставрировали, сейчас она стоит за пуленепробиваемым стеклом при самом входе в собор.

Микеланджело упрекали, что его Мадонна слишком юна. Она действительно выглядит не старше двадцати. Скульптор возражал – она мать нашего Бога, она не может стать дряхлой старухой. На самом деле в Деве Марии он изобразил свою мать, изобразил так, как помнил, – она умерла, когда Микеланджело исполнилось всего пять лет. Вы скажете – чушь, не может пятилетний мальчишка запомнить лицо человека, пусть даже самого близкого, с такой точностью. Отвечу вопросом: а может ли двадцатилетний парень создать статую, которая и через пятьсот лет будет считаться верхом скульптурного мастерства всех времен и народов?

Две фигуры – мертвый сын и скорбящая мать. Микеланджело вырубил «Пьету» из одного куска мрамора, задача непростая и для опытного мастера. Несмотря на сложность соединения и размер, фигуры выполнены в натуральную величину, композиция безупречна. Тщательность проработки деталей, виртуозное владение материалом – такое впечатление, что Микеланджело решил в одной работе продемонстрировать миру все грани своего мастерства. Техническая сторона поражает продуманностью: жесткие вертикальные складки, ниспадающие с колен

Мадонны, становятся пьедесталом для обнаженного мертвого тела. При всей кажущейся легкости композиция абсолютно устойчива и идеально уравновешена.

Но более всего поражает зрелость мастера, мудрость художника. «Пьета» – не просто демонстрация ремесленных навыков, пусть даже непревзойденных, Микеланджело подчиняет главной идее своего произведения абсолютно все. Идея эта – скорбь. Все технические ухищрения и приемы, композиционные решения, абсолютно все подчинено этому.

Мастер стремится создать напряжение противопоставлением живого и мертвого – безжизненно свисающая рука Христа и трагически изящный жест Марии. Вертикального и горизонтального, нагого и прикрытого – нарочитая жесткость вертикальных складок одеяния Мадонны подчеркивает горизонтальный излом обнаженного тела Иисуса. Мужского и женского – даже в мертвом теле сына мы ощущаем силу и скрытую мощь, лицо матери чувственно, нежно и бесконечно трагично.

Ничего подобного мир до этого не видел. Восторженный современник писал: «Пусть никогда и в голову не приходит любому скульптору, будь он художником редкостным, мысль о том, что и он смог бы что-нибудь добавить к такому рисунку и к такой грации и трудами своими мог когда-нибудь достичь такой тонкости и чистоты и подрезать мрамор с таким искусством, какое в этой вещи проявил Микеланджело, ибо в ней обнаруживается вся сила и все возможности, заложенные в искусстве».

14

– Ты же сам мне сказал: в главной башне, – ответила Лариса. – Или ты про это каждой девице хвастаешь? И ждешь, какая клюнет...

Я смутился. Действительно, похоже на чванство какое-то – я совсем не помнил, когда говорил Ларисе, что живу в высотке на Котельнической.

Она разглядывала маски на стене. Свечи, коптя, догорали, я включил торшер. Ночь подходила к концу.

– Как ты эту мерзость в доме держишь? – не поворачиваясь, сказала она. – Вот эта на редкость отвратительная. Похожа на смесь негра с крокодилом.

– Кстати, это добрый водяной дух Отобо. – Я лежал на ковре, закинув руки за голову. – Племя аньянг, из Камеруна, кажется.

– А вот этот – ничего, симпатичный даже.

– Снова не угадала, вот этот как раз достаточно злобный тип. Покровительствует душам убитых охотников.

– А ведь не скажешь... А из чего они? Будто из камня высечены...

– Черное дерево. У них там, в Африке, мастера по резьбе масок находятся на привилегированном положении, на уровне колдунов. Ну, может, чуть ниже... Но все равно племя к ним относится с пиететом. Перед началом работы над новой маской резчик проходит обряд очищения. Нож и топор, которыми он работает, считаются священными, им приносят жертвы. Колдун племени совершает таинственный ритуал, после этого мастер уходит в джунгли или пещеру. И там, вдали от людей, он начинает работу. Когда маска готова, резчик возвращается в деревню, где колдун совершает специальный ритуал оживления маски. У них это называется «вдохнуть душу». Для обряда используют животных – коров, антилоп, кур. Маску кладут на землю, колдун ножом режет горло жертвенному животному. Кровь непременно должна попасть на маску...

– А вот эта, красотка с крыльями? – Лариса повернулась ко мне. – Это что за дух?

– Это маска Черной Смерти из Чада. У нее даже имя есть – Укатанга.

– Смерти? У нее, что, настоящие зубы?... – Лариса поежилась. – Ну и гадость...

– Гадость? Гордость папашиной коллекции. Остальные маски – так, туристская туфта. Сувениры. А эта – абсолютно честная и на сто процентов аутентичная. Там даже кровь засохшая еще сохранилась – видишь? Жертвенная кровь...

– Антилопья? – настороженно спросила Лариса.

– Не думаю... – зловещим шепотом проговорил я. – Не думаю...

Лариса, подавшись вперед, осторожным пальцем дотронулась до маски. Я, разумеется, не удержался и звонко гавкнул.

– Ну тебя к черту! – Лариса отдернула руку. – Вот дурак...

Я засмеялся, она улыбнулась и, не выдержав, расхохоталась вместе со мной.

– Отец говорит, колдун средней руки с помощью пары заклинаний и вот этой вот маски может запросто человека на тот свет отправить.

– Колдун средней руки? – переспросила Лариса. – У тебя нет на примете? Может, телефончик дашь?

Лариса внимательно разглядывала маску. Черное дерево, отполированное до блеска, напоминало антрацит. Из раскрытой пасти торчали настоящие тигриные клыки, лоб и щеки маски были затейливо инкрустированы кусочками перламутра. Резные уши переходили в хищные перепончатые крылья. Художник явно обладал отменной фантазией.

Не отрываясь от маски, Лариса спросила:

– А ты бы смог?

– Я ж не колдун. И потом, слов не знаю. Без заклинания не работает.

– Нет. Я серьезно, смог бы?

– Что? Убить?

Она серьезно кивнула:

– Да. И так, что никто и никогда не узнает.

– С гарантией?

Продолжая дурачиться, я прикинул, кого бы я внес в список. Малиновского? Как-то мелко. Брежнева? Этот и так почти труп, да к тому же на его место непременно придет такой же престарелый маразматик. Там их целое Политбюро – заклинания устанешь произносить...

Неожиданно выяснилось, что настоящих врагов у меня просто нет. Убивать мне никого не хотелось.

Вот воскресить – другое дело. Тут я без заминки: конечно, Джона Леннона и Высоцкого, этих в первую очередь. Джими Хендрикса – разумеется, Джо Дассена... Кого еще?.. Джим Моррисон из «Дорс», ударник из «Лед Зепеллин». Джанис Джоплин и этот актер французский, как его...

– Слушай! Какой улет! – Лариса добралась до дедовых сабель. – Полный отпад!

Она сняла одну со стены, французскую, с золотой насечкой на эфесе, вынула из ножен. Умело вложила кисть в эфес, сжала рукоятку и неожиданно ловко крутанула клинком над головой, завершив трюк элегантно выпадам.

– Туше!

Я присвистнул и, нарочито медленно сводя ладони, заплодировал.

– Ага! – Она подмигнула мне, кистевым движением сделала несколько изящных кругов саблей. – Пять лет фехтовала в «Динамо». Юношеская сборная Москвы. Серебряная медаль спартакиады в Петрозаводске. Не фунт изюма!

Клинок сиял. Крутясь пропеллером, сталь с тихим свистом рассекала воздух. Зрелище определенно впечатляло.

– Вот ты все про своих итальянских художников знаешь. – Пропеллер крутился теперь в обратную сторону. – Про Возрождение. А известно ли тебе, что такое Болонская школа фехтования? За сто лет до твоего Микеланджело в Пизе была написана книга «Цветок битвы»...

Лариса медленно, точно скользя, приближалась ко мне. Блеск стали завораживал. Все это напоминало какой-то языческий танец.

– В этой книге написано: фехтовальщик должен воплотить в себе дух четырех животных – льва, он символизирует смелость, слона – это сила воли, тигра – это выносливость и рыси...

Клинок сиял в полуметре от кончика моего носа.

– А рысь? – я незаметно отодвинулся. – Что символизирует рысь?

– Рассудительность!

Лариса вскинула клинок вверх и замерла.

– Жаль, это сабли, я – шпажистка. В сабле нет проворства шпаги или рапиры, а суть болонской школы именно в том, чтобы поражать уколом острия, а не ударом лезвия. А это просто селедка какая-то...

– Эту саблю моему деду подарил сам де Голь, – обиделся я. – Селедка...

– Прости, – Лариса засмеялась, провела пальцем по лезвию, тронула острие. – Не, ничего, вполне приличный клинок.

Она подхватила с пола ножны, вложила в них саблю и повесила на стену. Долгим и странным взглядом посмотрела мне в глаза. Я смутился, улыбнулся, но она не ответила улыбкой, а подошла к торшеру и выключила свет.